

Потемневшее серебро

Н. Н.

2002 год:

Борис
Ольга
Мария – экскурсовод
Смотрительница музея
Любовь Алексеевна
Трошин
Виктория
Директор

1920, 1936, 1947 годы:

Левникова Ольга Владимировна
Летаев Алексей Иванович
Горкин Иван Егорович
Бочков Павел Алексеевич
Люба
Сурин
Греческий
Милиционер
Панов
Мария
Василий

1. 2002 год

Музей-квартира Алексея Летаева. Ольга, Борис, Мария

Ольга. Скажите, а этот стол – настоящий?

Мария. Подлинный. Я уже говорила, многие вещи хозяевам пришлось продавать, поэтому по-настоящему дорогих, роскошных вещей здесь немного. Но этот стол уцелел. Когда расселяли коммунальную квартиру, оказалось, что он так и стоял здесь с начала двадцатых годов. Музей выкупил его, и после реставрации он в экспозиции.

Борис. Как же так вышло – такой знаменитый писатель, и в коммунальной квартире?

Мария. Что же здесь необычного? Почти все так жили. Новый человек привыкал к новому быту.

Борис. От такого быта бежать хочется.

Мария. Куда? До сих пор так живем. По крайней мере, в нашем случае любовная лодка о быт не разбилась.

Борис. Я так и не понял – была ли лодка?

Мария. Здесь - была. Приходите к нам снова, поговорим об этом. Если у вас нет вопросов, тогда всего хорошего.

Ольга. Спасибо.

Экскурсовод уходит.

Борис. Ты была права.

Ольга. В чем?

Борис. Сюда нужно было прийти.

Ольга. Тебе понравилось?

Борис. Вяловато немного, но мы ведь с тобой тертые калачи. А в Серебряном веке мне нравится почти все.

Ольга. Какой интересный стол.

Борис. Чем же он так интересен?

Ольга. Не знаю. Тебе не нравится?

Борис. Я бы от книжного шкафа не отказался. Правда, красное дерево не очень люблю.

Ольга. А что любишь?

Борис. Дуб.

Ольга. А из чего этот стол?

Борис. Подозреваю, что как раз из дуба.

Ольга. Слышал бы нас сейчас кто-нибудь. Говорим глупости, шкаф выбираем.

Борис. Говорят, за границей, поступая в пенсионеры, все вдруг начинают путешествовать, ходить по музеям.

Ольга. Думаешь, пора?

Борис. Сама видишь, появляется некая тяга.

Ольга. Что ты все намекаешь, будто бы я старуха?

Борис. Боже меня упаси!

Ольга. *(Глядя в окно).* Вид какой.

Борис. И на площадке жилая квартира. Может, их это вовсе не радует?

Ольга. Почему? По-моему, мило.

Борис. А по-моему, нет. Экскурсанты – народ случайный. Жить среди случайных людей...

Ольга. А по-моему, не таких и случайных. *(Смотрит в окно).* Во дворе столько зелени.

Борис. Что, пожалуй, пора начинать ее пилить.

Подходит смотрительница.

Смотрительница. Вы на меня не обращайтесь внимания. Это у меня работа такая – ходить за вами. Вещи у нас старинные, а люди теперь, знаете, какие? Всем всё надо. Вот мне ничего здесь не надо. Шкафу-то, поди, больше ста лет, на ладан дышит. Каждый потрогает – и хана.

Борис. Вы здесь, наверно, знаете больше всех?

Смотрительница. Уж, пожалуй. Был ремонт четыре года назад, под газетами нашли обои, плохонькие. Так вот с них на заказ сделали эти. И что? Вон, всё в цветочек. Терпеть не могу в цветочек. Вот у стола два стула – видите? – разные. А вы не заметили.

Ольга. Нет.

Смотрительница. Разные. Но похожи. Диван, говорят, настоящий. На нем, говорят, Есенин сидел. Труха. Да тут до чего не дотронься... А стол вообще, говорят, полтора миллиона стоит. А вынеси его на помойку, так я и даром не

возьму. Сукно, говорят, меняли, но я не видела. И то, уже двадцать лет, как пылесосим. А пепельниц было много. Курили-то все, и женщины тоже. Есть было нечего, соберутся и курят, и у каждого своя пепельница фарфоровая. Вроде как остатки прежней роскоши. А эта – хозяйка – не дожидая до войны два года, и всё продавала вещи. Сначала гоняются за ними, как сумасшедшие, потом продают.

Ольга. Спасибо.

Смотрительница. Не за что. К нам в это время мало кто заходит.

Борис. И тут мы в десять утра в понедельник. Явно с головой не порядок.

Ольга. Но ты же только в понедельник мог.

Смотрительница. Вы дверь поплотнее закройте, а то сквозит. *(Уходит)*.

Ольга и Борис выходят на лестницу. Снизу поднимается старушка, подходит к двери жилой квартиры.

Старушка. Исчезаю, исчезаю. *(Заходит внутрь)*.

Борис. Вот кто знает больше всех.

Ольга. Почему ты так решил?

Борис. Чувствую.

Мария. *(Выглядывая из двери музея)*. Это вы? Я думала, школьная группа. Опаздывают.

Борис. Арестанты эпохи просвещения?

Мария. Так уж и арестанты.

Борис. Небось, их сюда силком тащат?

Мария. Бывает и так. Но это вопрос воспитания, поэтому есть и те, которым интересно. И, если честно, они нас кормят. Вот вы, сколько вам лет?

Борис. Скоро сорок.

Мария. А ведь первый раз у нас в музее. Если принять во внимание, что мужчины, прошу прощения, взяли моду умирать вскоре после сорока, получается – один раз за жизнь. А эти – вдруг еще когда-нибудь придут.

Борис. Лет через тридцать. Вы говорите так логично, что хочется вам аплодировать.

Мария. Да уж ладно вам. Я ведь тоже не о таком мечтала. Говоришь, а у них в ушах наушники. Мне показалось, кто-то хлопнул дверью.

Ольга. Наверное, ваша соседка.

Борис. Похожая на экспонат.

Мария. Из этой квартиры?

Ольга. Да.

Мария. Это Любовь Алексеевна. Это она. *(Идет к двери квартиры, звонит)*. Любовь Алексеевна! Любовь Алексеевна, откройте!

Старушка. *(Выглядывая)*. Да?

Мария. Любовь Алексеевна, мы же просили вас! Ходите по черной лестнице. Ведь нам же ремонт там сделали, а вы?

Старушка. Не злитесь, Машенька. Так получилось. Было достаточно тихо, я думала, нет никого.

Мария. Ах, Любовь Алексеевна, выселят вас, и я буду только «за».

Старушка. Это вы бросьте, Машенька. Вам никто не позволит. Я в своей квартире живу и вам не мешаю.

Мария. Как же не мешаю? Вы же народ сбиваете с толку.

Старушка. Вы там ходить не хотите, а я должна?

Мария. Как не хотим? И мы там ходим. Там ремонт сделали.

Старушка. Чем я вам не угодила?

Борис. Нам никто не мешал.

Мария. Дело не в этом.

Борис. А в чем?

Мария. Вы ведь, Любовь Алексеевна, снова к нам шли. *(Борису)*. Если бы вы здесь не стояли, она бы зашла в музей.

Борис. И что? Я бы тоже так сделал.

Мария. И мебель бы двигали?

Борис. Какую мебель?

Мария. Мемориальную.

Борис. *(Ольге)*. Ты что-нибудь понимаешь?

Старушка. Но я же хочу, чтоб все было по правде! У вас же все вещи не так стоят. И стол не так, и шкаф. И стулья не те! А я ведь еще помню. Я всё помню!

Мария. Ну, нет у нас тех стульев! И стол, я считаю, стоит правильно.

Старушка. А я говорю – нет! *(Борису)*. Вы видите? *(Экскурсоводу)*. Я же вам свой стул давала!

Мария. Зачем нам ваш стул?

Старушка. Ведь он настоящий! Его у Ольги Владимировны папа взял, когда она его выкинуть хотела..

Мария. Откуда я знаю? *(Борису)*. Вы видите?

Старушка. *(Ольге)*. Пойдемте, я вам покажу.

Мария. Любовь Алексеевна, вы никуда не пойдете!

Старушка. Я там жила! Я стол свой вам оставила! И никто тогда не сомневался, что он настоящий. Только благодарили. А потом, когда я пришла, так и ахнула: стол не там, шкаф не там, стулья не те. Я им свой даю, даром, не прошу взамен ваших липовых, – не берут.

Мария. *(Борису и Ольге)*. В лучшем случае – кухонный стул. У нас его ставить некуда. Там, где была кухня, у нас экспозиция.

Старушка. Я же вам говорила: какой он кухонный, когда у них на кухне отродясь стульев не было? На кухне были табуреты. И то не их, а наши. Они на них тоже сидели. А стулья стояли как раз в комнате.

Ольга. А можно мы на него посмотрим?

Старушка. Сейчас покажу *(Скрывается за дверью)*.

Мария. Она ненормальная.

Ольга. Она здесь жила?

Мария. Она больная. Она уже несколько раз лежала в психиатрической больнице.

Ольга. Что с ней?

Мария. Не знаю. Боюсь, сейчас опять обострение. Позавчера было вот так же.

Борис. Но стул настоящий?

Мария. Не мучьте меня. Откуда я знаю? И кто мне позволит его взять?

Борис. А если тихонько поставить в уголке?

Мария. Сейчас вы его увидите.

Старушка. *(Появляясь)*. Хороший венский стул. Сиденье сломалось, но это еще давно. Тогда Ольга Владимировна и отдала его моему папе. А папа, когда чинил, поставил фанерку.

Борис. И где он стоял?

Старушка. *(Хватая стул, бежит в музей)*. Да вот же!

Все спешат за ней.

Мария. Любовь Алексеевна!

Смотрительница. Куда?

Старушка. *(Пролезая под веревкой).* Вот тут он стоял в последние годы. *(Смотрительнице).* Не надо меня толкать! А эти стулья – чужие. Когда я была – их не было.

Смотрительница. Как будто это ее музей.

Старушка. Это моя квартира! Я прожила здесь пятьдесят лет!

Смотрительница. Милая! Да уж и я прожила здесь без малого двадцать, но не тащу из дома всякий мусор.

Борис. Может быть, я помогу?

Ольга. Кому?

Мария. Помогите.

Старушка. *(Налегая на край стола).* Помогите!

Мария. Я вызываю милицию.

Ольга. Не надо! Боря, ну помоги же ты!

Борис. Кому помогать-то? Дорогие мои, давайте оставим все как есть.

Смотрительница. *(Любови Алексеевне).* Уйди! *(В запале замахивается пепельницей со стола).*

Мария. Тамара Николаевна, что вы делаете?

Старушка. *(Бросается к шкафу).* И шкаф на полшага от двери. Всего на полшага! И там висел мой рисунок.

Мария. Не путаете? Может не ваш, а Добужинского или Сомова?

Старушка. Не знаю я никакого Сомова. А мой здесь висел.

Смотрительница. Нахалка! Повесить им нечего было больше!

Старушка. Висел! И долго висел!

Смотрительница. И стол её, и все картины она написала!

Старушка. Машенька, скажите вы ей, что мой это стол.

Мария. Ваш, ваш! Нельзя же так. Это музей. Теперь это музей.

Старушка. А что, музей – это неправда?

Борис. Может быть, я подвину стол?

Мария. Я вызываю милицию!

Борис. Я только в качестве компромисса.

Мария. Мемориальный музей-квартира. Здесь без скелета в шкафу не бывает.

Борис. Часто вы так?

Мария. Не часто, но регулярно.

Ольга. Давай уведем её. Любовь Алексеевна, пойдёмте.

Старушка. А я не хочу уходить. Я требую правды. Она меня так любила, Ольга Владимировна. И я ее тоже. А здесь всего одна её карточка, а всё какие-то мужики. Я их не помню.

Мария. Есть еще одна, но это, действительно, всё..

Старушка. Ну как же? А та, где я вместе с ней?

Смотрительница. Опять начала!

Мария. И где же она?

Старушка. Как где? У меня дома.

Мария. У вас?

Старушка. У меня. Берегу.

Мария. Вы правду говорите?

Старушка. Не стану же я врать.

Мария. И можно взглянуть?

Старушка. На стул глядите.

Мария. Хороший стул.

Старушка. Венский.

Смотрительница. С ленинградским душком.

Ольга. А мне покажете?

Старушка. Вам покажу. Пойдемте.

Борис. Я стул отнесу.

Мария. Несите. Не могу я его взять. Я научный сотрудник, поймите вы это.

Смотрительница. Я бы села на рухлядь эту, так ведь развалится. И не положено мне на жестком сидеть. Охрана труда не позволит. *(Выходит)*.

Входит группа школьников.

Мария. *(Борису)*. Вы откуда приехали?

Борис. Мы? Мы здешние.

Мария. Так почему же тогда – впервые?

Борис. Хотел бы я знать ответ на этот вопрос. Да, очень бы хотел. Не в бровь, а в глаз. Но, как говорится, лучше сегодня, чем никогда, правда? А вы? Вы были в той квартире?

Мария. Нет, не была.

Борис. Выходит, что напрасно. Пойду. Сегодня уже не будет бурных сцен?

Мария. Надеюсь. Оставьте стул, пускай постоит до завтра.

Борис. Уверовали?

Мария. В моем возрасте только этим и заниматься. Мне нужно увидеть эту фотографию. *(Школьникам)*. Пожалуйста, не трогайте шкаф! Мне нельзя, почему вам можно?

Борис. До свиданья.

Мария. Всего хорошего.

Борис выходит на лестницу. Он и Ольга.

Ольга. Есть фотография, в толстом таком альбоме.

Борис. Она действительно сумасшедшая?

Ольга. Мы завтра пойдем к ней в гости, сам увидишь. Ты завтра можешь?

Борис. Напросилась?

Ольга. Как-то так вышло само собой.

Борис. Ладно, гулять так гулять. Поговорю на работе. Если опять с утра...

Ольга. Поговори. Там у нее все старое, простое.

Борис. Музейный зверёныш!

Ольга. Там все по правде, без равнодушия. Я люблю, когда так.

Уходят.

2. 1920 год

Сурин. Почва? Болото – вот что такое вы! Мы возникли на вашей почве? И что? Революция делит поэзию на «до» и «после». Мы – новое, а вас теперь и вовсе нет.

Бочков. Категорически? Уж больно ты грозен, как я погляжу.

Сурин. Это же аксиома.

Бочков. Я полагал, что поэзия неделима. То есть, плохая и хорошая, и весь сказ.

Греческий *(Бочкову)*. Где вы видите там поэзию? Теперь все другое, а вы словно спите! И перестаньте оправдывать ваше существование мифической связью с ними *(Тычет в Сурина)*. «Происхождение видов» – это про обезьян!

Сурин. Вы ничего не видите! Ушли ваши салонные штучки, вот вы и дергаетесь. Изменилась сама суть вещей. Раньше поэзия была прихотью, а теперь она должна, понимаете? Теперь она часть общего марша.

Бочков. А если я не хочу маршировать?

Сурин. Тогда вы никому не нужны.

Бочков. Может, вы мне и дышать запретите?

Горкин. *(Внезапно).* А как же личное?

Сурин. Какое?

Бочков. У них теперь штык объект вожделения. Вроде женской ножки.

Сурин. А вам все голые бабы мерещатся.

Греческий. Как вы сказали?

Бочков. А вам - нет?

Сурин. Давайте - давайте! Только не надо смеяться. Все еще впереди, вот увидите.

Бочков. Вы про ножки? Для вас они, кажется, позади. Хотя как это – любили, любили и вдруг разлюбили?

Горкин. Поэзия и революция – кто кого? И что на что делится?

Летаев. А ну-ка раздели революцию!

Бочков. Что над чем? Как это там было, числитель... знаменатель... не помню. А что важнее – числитель или знаменатель?

Сурин. Это вы мне?

Бочков. Ну, кто скажет?

Греческий. Причем тут это?

Бочков. Выяснить, сколько поэзии...

Греческий. Где?

Бочков. В воздухе.

Сурин. Вот-вот.

Ольга. Сколько поэзии в революции.

Горкин. И революции в поэзии.

Сурин. В вашей – ноль.

Бочков. И в вашей – ноль.

Сурин. Что?!

Бочков. В вашей революции, Сурин, ноль поэзии.

Ольга. Ах, Павел Алексеевич, то-то и оно, что в этой буче поэзии много. Плохо, что жизни нет.

Сурин. Будет жизнь.

Бочков. Обещаете?

Горкин. А я бы сделал проще: например, разделил бы все на четверти: революция - одна четвертая...

Сурин. Только одна?

Горкин. Есть же у человека еще что-то?

Ольга. Стыд.

Сурин. Для бездельников – да. А как еще? Мы действуем – вы стыдитесь. Раньше было наоборот: Вы странно так жили в мире ваших воздыханий, а стыдились мы. Но действуя, презирая вашу пропудренную брезгливость к нищему народу! Даже на пять четвертых стыдились.

Бочков. А так можно?

Сурин. Откуда я знаю?!

Горкин. Поэту можно по-всякому.

Греческий. Кто поэт?

Горкин. Кто-нибудь да поэт.

(Пауза).

Летаев. Надо как-нибудь уживаться.
Греческий. Это еще зачем?
Бочков. Дружить?
Сурин. Вот уж не думаю.
Бочков (*К Летаеву*). Что же, по-вашему, еще?
Летаев. Пока что борьба, потом – строительство. Давайте соответствовать времени.
Бочков. Скажите, а женщину я любить могу?
Летаев. Можете.
Бочков. В какой степени?
Летаев. Как хотите.
Бочков. Но, конечно, не более, чем революцию?
Сурин. Вы можете не любить революцию, это все равно. Она вас переедет.
Бочков. Вам бы только потоптаться по человеку.
Сурин. Писатель должен быть подотчетен народу. Понятен. А вы понятны?
Бочков. Какому еще народу?
Сурин. Продолжаете не замечать? Рабочему, вот какому. Пролетарию.
Бочков. Плевал он на нас, этот ваш рабочий народ!
Сурин. На вас он, точно, плевал. А нас читает. Мы, знаете ли, понятно пишем.
Греческий. Жалко, что с ошибками.
Сурин. Старая песня! Одна из ваших хитрых штук! Старый стиль!
Греческий. Да что вы говорите? Вот на этом и закончим. Эта мысль меня будет греть. (*Встает*). Грамотность, говорит, устарела! Ольга Владимировна, все! Грамотность устарела и любезность с нею. Плакали ваши кавалеры. Плачь, плачь, Россия-матушка, Ну-с, господа поэтики, или вы или я.
Сурин. Мы, мы!
Греческий. Ну и черт с вами!

Греческий уходит.

Бочков. Ну, Сурин, теперь и вы уходите. Для равновесия. Я с вами бодаться один на один не буду.
Сурин. Силенок нет?
Бочков. Охоты.
Сурин. Конечно, пойду. Летаев, как вы? Ну, как хотите. Еще увидимся. (*Ольге*). Всего хорошего.

Сурин уходит.

Бочков. Ффу!
Ольга. Давайте чай пить.
Бочков. У вас есть чай?
Ольга. Алексей Иванович принес.
Бочков. Фунт революционных опилок? Не люблю, как же я сейчас никого не люблю! Нет, я не привередлив, не те времена. Но ведь это так. (*Летаеву*). Вы – победители быта. Наверное, много грешил наш человек, если Господь наслал такую порчу на всю Россию.
Летаев. Много грешил. Жил не по совести.
Бочков. Только и слышно сегодня: стыд и совесть! Вы как сельский батюшка говорите. Только он в конце простит и грехи отпустит. И скажет: Христос с тобой.
Летаев. Не всем можно прощать.

Бочков. А кого не прощать – это вы решаете? На основании чего? Жил не по совести? Рассуждаете обо всем этом, а сами в Чрезвычайку смотреть на расстрелы ходите? Да, этот ваш Сурин хвастался. И как, совесть не мучит? Или она у вас так революционировала, что на такие мелочи не обращает внимания?

Летаев. *(Тихо).* Обращает.

Бочков. А не должна бы! Вы не должны со мной соглашаться! У вас или черное или белое. Так уж извольте держаться чего-нибудь одного!

Ольга. Вы, Павел Алексеевич, не на того напали. Вы с Суриным не стали спорить, за что вам спасибо, а все, что вы говорите, как раз к нему и относится. А раз мы решили пить чай, так вот и давайте. Алексей Иванович, идемте со мной, вы мне поможете.

Ольга и Летаев выходят.

Бочков. Вот как! Эх, Ольга Владимировна. Все вы так... добренькие. А потом слезы, и ничем нельзя помочь.

Горкин. Раньше собрания были – почти до утра. Помните? Пили, стихи читали. Прекрасно... Какие дивные вечера! Я вот никогда не был богат. Так, мелкий чиновник... Я ведь от чистого удовольствия... Кто я такой? А берегу свято... Не литератор, не герой, так – подножный корм литературы. Все выдержу, все приму. Но своего не отдам. Слышите?

Бочков. Что вы говорите?

Горкин. *(Гневно).* Надо бы знать, что такое числитель, а что знаменатель. А то чем гордимся? Вы что кончали?

Бочков. Московский университет.

Горкин. А? Заглядывать в глаза, в самые зрачки, в самые зрачки, и ничего не видеть! Превозносить буквы и презирать цифры. Буквы для вас забава, а цифры – прислуга. Каждый стоит на своем. Мир раскололся, так зачем же кричать, что твой осколок и есть истина?! Вы не боитесь революции цифр?

Бочков. Что вы говорите! Вас ведь Иваном Егоровичем зовут? Да я-то тут причем! Мир раскололся? Его раскололи! Разбили всмятку. Они пришли, как чума, а вы все как-то обезличиваете. Выражаясь по-вашему, делите поровну.

Горкин. Делю. Вину делю.

Бочков. А беду? Вы делите вину, а беда вся наша!

Горкин. Вина и беда, числитель и знаменатель.

Бочков. Скажите прямо: вы что-нибудь смыслите в математике?

Горкин. Нет.

Бочков. Я так и думал. Так какого же вы черта!

Горкин. Ваш здравый смысл – скучное дело. Кусать так же больно, как быть укушенным.

Бочков. А это вы о чем?

Горкин. Хотите симметричный вопрос?

Бочков. Ну...

Горкин. А вы что-нибудь смыслите в поэзии? Прошу прощения, если обидел. Честь имею. Всего хорошего.

Горкин уходит. Входят Ольга и Летаев.

Ольга. Ну что, успокоились?

Бочков. Как сказать...

Ольга. А где Ваня? Иван Егорович?

Бочков. Он ушел.

Ольга. Куда еще? Он же чай собирался пить.

Бочков. Кто он такой? Что он у вас делает? Он нормальный? Нес какую-то ахинею.

Ольга. Он или вы?

Бочков. Да причем тут я? И у вас теперь нет покоя.

Ольга. Вот ваш чай. Это Ванина чашка, может быть, вернется еще.

Бочков. У него здесь персональная чашка?

Ольга. Что здесь странного? Мы знаем друг друга с детства. Наши матери вместе росли. Он мне как брат.

Бочков. Вон оно что! Раньше, давно, я его видел у вас. Он дружил с Николаем? Странный сегодня вечер.

Ольга. Ваня много лет жил в Кронштадте и бывал здесь редко, а теперь, когда трудности с сообщением, он перебрался сюда. Если вы встречались, как же до сих пор не знакомы? Он стеснительный, ну а вы?

Бочков. Стеснительный? Что ж, мне его – расцеловать?

Ольга. (*Летаеву*). Алексей Иванович, что с ним делать?

Бочков. Вербки вить.

Ольга. Что это будут за веревки?

Бочков. Презираете?

Ольга. Нет.

Бочков. Еще хуже.

Ольга. Павел Алексеевич, я от вас устала. Вы сегодня со всеми спорите. Пейте чай. Сахара, конечно, нет, но есть сайки.

Бочков. (*Летаеву*). Тоже вы?

Ольга. Представляете – такая роскошь. Я же теперь сама хожу на рынок. Как в темный лес. Какие там лица...

Бочков. Лица – как в Булонском лесу. Французской булочки хочется. И чтобы кофий со сливками. И сливки в сливочнике... и лей сколько хочешь.

Ольга. Ешьте сайку и пейте чай.

Бочков. Поставьте хоть пустой сливочник. Смотреть на него буду. Как Делакура.

Ольга. Делакура родился в восемнадцатом веке.

Бочков. И что же? Восемнадцатый век чему помеха? А еще говорите, что я сегодня спорщик.

Ольга. Отродясь у нас сливочника не было.

Бочков. Да? А я считал вас аристократкой. (*Смотря на Летаева*). Хотя зачем же я вас компрометирую? Нет сливочника – это очень в духе времени. А сайки... ну, будем как студиозусы, вспомним бедную юность, чтобы... чтобы голодную старость хоть полчаса не замечать.

Ольга. Странно, что мы не делали запасов, да? За всем теперь идешь на толкучий рынок и вместо денег берешь с собой то чашку, то башмаки. Цены не знаешь, да и какая цена у ношеной обуви?

Бочков. А лапотник знает цену! За мыло просит хлеб, за хлеб – сапоги.

Представьте, Ольга Владимировна, такой случай. Остался я в одиночестве.

Моя хозяйка на эту неделю уехала к себе в деревню. А была у меня дома дамская шляпка с вуалеткой, от моей покойной сестры осталась. И вот на днях, оглядевшись, я взял эту шляпку, свою старую трость, еще кое что – так сказать, на, Боже, что нам не гоже – и тоже пошел на толкучий. Хотелось,

естественно, хлеба или крупы. А мне в одном месте предлагают мешочек овса. И всё. Спроса нет. Я на овес не согласился. Несу трость и шляпку домой.

Подходят двое, со штыками. «Давай, говорят, буржуй, сюда!» И отняли. Вот и нет у меня больше шляпки. А также хлеба и... Смешно. Что скажете, господин Летаев? Вероятно, что нужно было брать овёс?

Летаев. Вы говорите, что мы ничего никому не прощаем. Но вы ведь тоже.

Бочков. А вы что хотели? С потопом борются.

Летаев. От потопа бегут.

Ольга. Чай!

Бочков. Какой вы потоп? Орда иноверцев.

Летаев. Но вы ничего не измените.

Бочков. Вы же смогли.

Летаев. Такое раз в тысячу лет бывает. Это нужно принять.

Бочков. Разбой? Сельский батюшка! Ольга Владимировна, вы видите? Великолепно! (*Летаеву*). Мы ведь с вами как стрелка компаса: вы налево, тогда я направо. А вы, Ольга Владимировна, гвоздик, вокруг которого мы вертимся.

Ольга. И очень жаль.

Бочков. Почему?

Ольга. Мелко очень.

Бочков. Ну да, но это так – частность. Не хочется громких слов. Но и забывать, и соглашаться я тоже не намерен.

Ольга. Что вы сказали Ване?

Бочков. Что он мне сказал. Он помешан на математике.

Ольга. Не замечала. (*Пауза*). Впрочем, теперь все сходят с ума. Кто с головой – те ищут выход. Греческий уезжает.

Бочков. Конечно! Бежит и всем советуется.

Летаев. А вы?

Бочков. Я не могу.

Летаев. Что так?

Бочков. Как вам сказать? Свое жалко бросить.

Летаев. Что же у вас здесь?

Бочков. Кроме шляпки? А как вы полагаете?

Летаев. Знаю. Теперь это общее место. Греческий завтра, небось, пять чемоданов попрет, а ведь кричит: мы увозим Россию с собою!

Бочков. Что здесь странного, если у него есть эти пять чемоданов? Он же их не экспроприировал.

Летаев. Вот и вся ваша Россия – по карманам да по чемоданам распихана.

Бочков. Вы проверьте свои карманы через годик-другой, а там посмотрим.

Летаев. Посмотрим.

Бочков. Что касается чемоданов – они у меня есть. Но бежать не имею ни малейшего желания.

Летаев. Врете!

Бочков. Вру. Очень уж вы мне надоели. Отдохнуть бы от вас в Бадене. Или хотя бы в Крыму.

Летаев. Этим все и закончится.

Бочков. Так ведь новая власть не пускает. Говорят, вы были в Берлине по советским делам? Вам известно, пускают теперь исключительно командированных. Липовых или настоящих – это уж как продашься. Я же в советских газетах не участвую, в союзах не состою. Справку имею – житель Петрограда. Ну вот... здесь и живу.

Ольга. Павел Алексеевич, а как поживает ваше столовое серебро?

Бочков. Помните? Это да! Этого много. Так ведь сейчас не время.

Ольга. (*Летаеву*). Так Павел Алексеевич называет дерево во дворе, серебристый тополь.

Бочков. (*Ольге*). Приходите, он будет вам рад. Особенно летом – такая сила, весь двор насквозь. Другого серебра почти не имею, так, ерунда. Теперь за голенищем каждого солдата и не такое найдешь. Отнять и поделить – равенство. Так что вот – тополь в окне столовой. Сурин сказал бы: глазки щиплет от умиления, а я бы плюнул ему в лицо. Он живоде́р. Говорят, он стихи пишет?

Летаев. Пишет.

Бочков. Сам? Что же это за вирши? Тут вы молчите. Это называется: и нашим, и вашим. Даже в этом вы нечестны.

Летаев. Что вы про меня знаете?

Бочков. Мало. Предпочитаю не знать.

Ольга. Хватит! Так тяжело, а тут еще вы с вашей честностью.

Бочков. Да, хожу сюда, к вам, по привычке, а может быть, и не надо уже.

Ольга. Простите, если обидела.

Бочков. Простите и вы. Пойду. Летаев, откройте глаза, неужто не видите разбитую физиономию России? Хотя б отойдите от тех, кто ее бьет. Спасибо за чай. Конечно, он плох, но если б не вы, я вовсе сегодня не пил бы чая. Но Сурина не хвалите, он подлец. Спросите Ивана Егоровича, он скажет вам сущую правду.

Летаев. Вот что. Я мог бы найти вам место.

Бочков. Спасибо, а то я никак его сам не найду.

Ольга. Павел Алексеевич, вам помочь пытаются.

Летаев. Вам нужно идти в Наркомпрос. Вам нужен паек.

Бочков. Кто же мне его даст? Я не гожусь в просветители этого падшего мира.

Летаев. Вы только палки в колеса не суйте, и, по-моему, дело найдете.

Бочков. Да? Знаю я ваши дела. Вот вы мне скажите: вы, человек с талантом; я слышал, вас хвалит Блок. Что вы ищете им оправданья? Что вы ходите с этим Суриным? Вы же в этот момент знаете кто? Выражаясь языком вашего полупомешанного братца, Ольга Владимировна, вы, Летаев, поэт только на четверть, а остальное – баламут и разбойник. И никакой талант не может это искупить. Вам это нравится – рвать Россию на тряпки? Вы же из народа, у вас же должна быть совесть. Вы себя уважаете?

Летаев. Да, я себя уважаю. То, что вы видите, вижу и я, но революция – это не то, что мы видим.

Бочков. Как сложно! Хотя позвольте: это же символизм!

Летаев. То есть, все это – накипь, гниль, но ее скоро не будет.

Бочков. Видно как вы молоды. Вы так наивны, что мне расхотелось вас презирать. Как же влюбила вас эта чертова революция. А почему? Это не ваше дитя. Что в ней такого хорошего? Хлеба нет; чай пролетарскому поэту дают, а непролетарскому старику-профессору – кукиш. То же самое с дровами, а без дров холодно. Люди бегут, а их ловят или обирают до нитки. Город пустеет на глазах, и в то же время понаехали тысячи людей, откуда? У них там революции нет, что ли? Зачем они здесь? Значит, пришли на поживу. Вот вам и вся ваша революция – поживиться. И этого не получается. Отнять – я еще понимаю, себе на пользу, но жечь зачем? А жгут. Знаете что? Сделайте доброе дело – уговорите Ольгу Владимировну уехать отсюда. Это ведь может плохо кончиться.

Ольга. Я никуда не поеду.

Бочков. Так уж и никуда? Греческий звал вас с собой? Не соглашайтесь. Вы чемодан ему понесете. Но ехать надо.

Ольга. Я не поеду.

Летаев. И правильно.

Бочков. Почему?

Летаев. Здесь много дела.

Бочков. Ольга Владимировна, вы созданы для таких дел? Будете, как курсистка, печатать речи господ большевиков? Или пойдете в народ сеять разумное? Что вы будете делать?

Летаев. Оставьте!

Ольга. Разве я знаю, что буду делать? Откуда мне знать? Я не хочу уезжать, почему все меня гонят? И все, и хватит! Слышите?

Бочков. Куда деваться. *(Встает)*. Оставляю вас, Ольга Владимировна, надеюсь, в сомнениях. Не очаровывайтесь новыми временами. Времена – дрянь. Дрянь, а куда деваться? Разве что в Америку?

Бочков выходит.

Ольга. Я знаю его с той самой поры, как познакомилась с мужем. Они всегда были вместе, и с ними Греческий. Все разговоры о искусстве, журнале, статьях, авторах. Редакторы, что вы хотите. Были какие-то «платформы», разногласия. Потом Греческий перешел к идейным противникам Николая, они перестали встречаться, хотя не ругались, а Павел Алексеевич был всегда рядом. Он так трогательно ко мне относился, всегда приносил маленькие подарки, был весел, любил меня. Кто я была среди них? Ребенок, которому было скучно, когда они бились насмерть за свои идеалы. На лица их не было скучно смотреть... Сегодня вот он пришел с каким-то полешком. Все тот же маленький подарок. Сильно похудел, мне жаль его, но он злится и мне от этого не по себе. Как будто я сама не изменилась. Я тоже злюсь, но на меня никто не смотрит с надеждой, которую так легко обмануть. А тут еще Греческий, которого он привел.

Летаев. С другой стороны от полешка? Для симметрии?

Ольга. Молчите. Греческий не был давно. Он через месяц уезжает. «Ваш муж... ваш муж...»

Летаев. Что ему было нужно?

Ольга. Предлагал увезти архив Николая. Говорил, что устроит мой отъезд.

Летаев. Какое великодушие. А вы что?

Ольга. Что я? Зачем ему это? С тех пор, как умер муж, сюда приходят, как на кладбище. Садятся и вспоминают прошлое. Так им легче? А кто тогда я? О чем они говорят у себя дома? В пайке дают гнилую картошку, так скажи: когда будет хлеб? И сам паек унизителен. Страшно, а им не страшно.

Летаев. Страшно.

Ольга. Значит, они так бодрятся возле меня? Вот сегодня пришли и сели, как раньше. Важные, а одеты как ряженые, все ушло к спекулянтам. Так смешно. Поэзия, поэзия! Вот уж корм! Помните, как вы в первый раз пришли к нам? Четыре или пять лет назад? Вы принесли мужу свою тетрадку, и очень стеснялись. Он как раз начинал новый журнал, и вы ему оченьгодились. Это его слово, я это помню. Важно в молодости быть нужным, да? Муж не был ни завистлив, ни заносчив. Когда это было – в пятнадцатом или шестнадцатом году? Вы были в военной форме. И, кажется, тогда был Греческий.

Летаев. Был. Имел счастье... С тех пор я его не люблю, с самого первого раза. Он любит только себя. Таких господ в вашем доме всегда было много.

Ольга. Какой вы стали.

Летаев. Давно уж. А может, и был всегда.

Ольга. Нет, вы были мальчик и смотрели по-доброму.

Летаев. Я трусил. А что сейчас?

Ольга. Возмужали.

Летаев. Я очень хотел вас видеть. Я третий день в Петрограде, но не было повода сразу прийти к вам.

Ольга. Какой вам нужен повод? Страх потеряться разве не повод? Мне все время страшно, страшно и непонятно, что делать. Кажется – где-то неподалеку огромная черная дыра. Вам не кажется? И оттуда идут черные страшные вести. Вы сегодня пришли, а кто придет завтра? Нужно успеть хотя бы сказать «до свиданья» по-человечески.

Летаев. Вы не хотите уехать?

Ольга. Нет.

Летаев. Вам будет трудно.

Ольга. Как я не верю тем, кому сейчас легко. Павел Алексеевич прав, это выше сил человеческих. Но что же делать?

Летаев. Уезжайте.

Ольга. Куда?

Летаев. В Берлин.

Ольга. Какой вы глупый! Что вы знаете, кроме Берлина? Что у меня есть для этого? И как? Я ведь одна одинешенька. Там будет только хуже. Там уже точно никто не придет. Слышите, вы заходите ко мне хоть иногда.

Летаев. Как прикажете.

Ольга. Зачем с вами был Сурин? Эти его агитации, они здесь бессмысленны. А покусать, к примеру, меня не велика честь. Что ему было нужно?

Летаев. Он вам сказал.

Ольга. Да, сказал. Сюда кого-то поделят. Пусть. Новость не стоит того, чтобы с ним встречаться.

Летаев. Но ведь у вас была бумага от Луначарского?

Ольга. Да, была. Как я понимаю, ничто не вечно. Значит, вы пришли за этим.

Летаев. Я пришел потому, что хотел видеть вас. С Суриным я встречался, чтобы добыть бумагу для издательства. Там у них никого не найдешь: все заседают. Сурин – председатель комиссии. Там я узнал, что он идет к вам.

Ольга. Ко мне уже приходили. Почему-то в спальне открыли шкаф. Знаете, это не страшная новость.

Летаев. Ольга Владимировна, простите меня за все. Я так не хочу быть черным вестником для вас.

Ольга. Вы не черный вестник. Какие комнаты они забирают?

Летаев. Тут выбор за вами. Отдайте им ту, что ближе к кухне. Тогда ходить они будут по черной лестнице, не заходя на вашу половину.

Ольга. Они согласятся?

Летаев. Да.

Ольга. Ближайшая к кухне комната. Эта.

Летаев. Если хотите, выберете другую.

Ольга. Мне все равно.

Летаев. Я бы помог вам с вещами, с мебелью. Если хотите, я позову дворника.

Ольга. Уже поздно.

Летаев. Тогда – завтра?

Ольга. Хорошо.

Входит Горкин.

Ваня!

Горкин. Ушел, не попрощавшись. Совесть замучила.

Ольга. Это хорошо, что ты вернулся. Садись.

Горкин. Замерз. Ветер, хмуро, фонари не горят. Все-таки к обществу допускать меня последнее дело.

Ольга. Павел Алексеевич что-то говорил...

Горкин. А! Он говорил! Еще говорильщик. В яму летим и все говорим, говорим. А кто толкал нас? Сами.

Ольга. Чай остыл. Подогреем?

Горкин. Нет, не надо. Потом. Я пойду сейчас. Наговорил – и стыдно стало. Знаешь: я гордый, это плохо. Если уж гордый, то и живи, как птица, а не гни почем зря голову. Впрочем, я думаю: это время – время гордых людей или тихих, смиренных? Кому его в зачет поставят? Кого помнить будут?

Летаев. Гордых.

Горкин. Ну, а смиренные – глупцы?

Летаев. Почему же глупцы?

Горкин. А как? Время гордых, а ты голову гнешь, сгибаешься.

Ольга. Не сгибаешься, Ваня, опять ты за старое. У каждого силы свои.

Горкин. Оля! Гордые пусть друг друга кокошат. Но другие, не гордые, не живут они с миром, – гнутся, а в душе, в душе мельчают. Вдруг, как по хлопку, полная перемена всего. Черное стало белым, белое – черным. Переворот!.. Как не верти – все худо. Если внутри меня нет нужды в таком перевороте, если еще есть способы стать человеком без всей этой крови, разве я не имею права быть тем, что я есть? Вот и вся моя гордость – человеком хочу быть.

Ольга. Ваня, ты на себя наговорить хочешь. Он это умеет. Сейчас скажет, что предает человека в себе, что весь в недостатках.

Горкин. Конечно!

Ольга. А что ты хочешь? Пойти воевать?

Горкин. Нет. Если уж не воевал с мельницами, чего теперь-то?

Летаев. С какими мельницами?

Горкин. С теми самыми. Которые, когда все вроде бы хорошо, спать не дают. Говорят: не буди лихо, пока оно тихо. А теперь оно само проснулось, и жрёт и осторожных, и отчаянных.

Летаев. Если лихо – это народ, то не спать же ему вечно.

Горкин. Это слишком простая мысль, слишком легкая, чтобы быть правдой. Причем здесь народ? Мы ведь тоже народ, вам не кажется? У меня сапоги и костюм-тройка, который я не ношу. Это повод изгнать меня из народа? Да не верьте же вы глазам своим! Впрочем, вы атеисты. Я говорю о нашей общей вине. Общей, метафизической, если хотите. Чем ожесточеннее споры, тем уже взгляды. Кто-то скажет: кровь существует, любовь – не знаю. А если я скажу в ответ, что есть любовь, а крови нет? С ума схожу... А что есть вера? Признание любви как высшего смысла. Но белые флаги становятся красными – признание крови, как... как... Новая легкая вера глаз. Мелкое блюдечко – вот что такое ваша новая вера. Не верь глазам своим!

Ольга. Ты как в горячке.

Горкин. Сегодня – да.

Ольга. Тебе не нужно идти к себе. Остайся.

Горкин. Пойду. Наговорил... еще немного – и сам поверю, что спятил.

Летаев. Где вы живете?

Горкин. На Выборгской стороне.

Летаев. Вас не пропустят. Поздно. Вас остановит патруль.

Ольга. Да ты и правда горячий. Приляг в кабинете. Я сделаю тебе компресс.

Горкин. Ах, Оля, к сорока годам... можно только удивляться...

Ольга. Чему?

Горкин. Всему. Как в двадцать плачешь, в тридцать вздыхаешь почему зря, так, вероятно, в сорок разводишь руки. Живи я сейчас в каком-нибудь тихом имении, похожем на старый осенний кронштадтский закоулок, я так же развел бы руки, как делаю это здесь, не понимая, зачем все это. Это возраст... Я лягу. Действительно, что-то я того... Не обращайтесь внимания. (*Уходит*).

Ольга. Никогда его не видела таким. Что с ним?

Летаев. Лихорадит.

Ольга. Господи! Я знаю, он ходит целыми днями по делам службы. С Выборгской стороны на какой-то судоремонтный завод, потом, когда есть силы, сюда.

Летаев. Где он служит?

Ольга. В морском ведомстве. Что-то по части ревизии судоремонтных заводов. Смог перевестись по службе. Он очень слаб... Алексей Иванович, я могла бы поселить Ваню у себя? Вместо тех, кого должны подселить?

Летаев. Поселить, я думаю, нужно. Но едва ли это избавит от тех жильцов. Ну, других не поделят.

Ольга. Вы на него не сердитесь. Я и сама не знаю, что иногда говорю. Все-таки мы из другого времени.

Летаев. Я понимаю.

Ольга. Это какой-то кошмар. Когда это кончится? За что? Вот Николай не дождал до всего этого, бросил меня. Как же мне страшно.

Летаев. Если бы ваш архив передать государству, то, возможно, получится чего-то для вас добиться.

Ольга. Чего, например?

Летаев. Внимания власти.

Ольга. А вы разве не власть?

Летаев. Я – нет. Я хотел бы только писать. Все уляжется – власть будет властью, а люди – людьми. Сурин, кажется, был знаком с Николаем Федоровичем? И, я думаю, был им обижен.

Ольга. Я не знаю. Он был у нас раза два. Как он мог быть обижен? Он пишет плохие стихи?

Летаев. Я думаю, он перестанет совсем писать. Все эти заседания – невозможно. Вы все-таки подумайте, я мог бы похлопотать. Архив Николая Федоровича, пусть не сейчас, пусть гораздо позднее, обязательно пригодится. Сейчас очень много ценного попадает в музеи, но будет музей и таких, как вы.

Ольга. Мы с вами не договоримся. Такие, как я, такие, как вы... Мне неприятно слышать это. Хватит сажать меня в клетку! Вам нужен архив? Вы за этим?

Летаев. Не отдавайте вы ничего! Делайте что хотите. Мне ничего не нужно! Я буду в Москве, пойду к Луначарскому. Я... Вы для меня – как свет. А вы говорите, что мне от вас что-то нужно.

Ольга. Тогда объясните, зачем они все отбирают? Там нет ничего, что было бы им интересно, там высшие сферы, вы же знаете. Это всего лишь шкаф, в котором бумаги и книги, где много знакомых, близких мне людей; где есть ваши первые напечатанные стихи. Это не чья-то литература, это моя жизнь. Эти стихи, статьи – камерная музыка, а сейчас время кантат. Как мне расстаться с этим? Умру – пускай забирают.

Летаев. Будет по-вашему. Только слова, что искусство принадлежит народу – это ведь правда. Все останется людям, может быть, даже самым простым. Дети станут расти на прекрасных примерах. Вы представьте, какими будут школьники будущего. Но хватит мечтать. Ольга Владимировна, мне пора. Что касается Ивана Егоровича, то я решу все вопросы, он может жить здесь. И, если позволите, я еще зайду к вам.

Ольга. Приходите. Я буду рада. Здесь не всегда так шумно, сможем поговорить.

Летаев. До свиданья. Пусть Иван Егорович зла не держит.

Уходит.

3. 2002 год

Утро. Из своей квартиры появляется Любовь Алексеевна. Быстро вешает что-то на дверь и исчезает. На двери остается табличка «МУЗЕЙ». Появляется Экскурсовод. Замечает табличку.

Мария. Опять она принялась за старое! (*Уходит*).

Входит смотрительница.

Смотрительница. Вот зараза! (*Уходит*).

Входят вместе.

Смотрительница. Что с ней сделаешь?

Мария. Ничего с ней не сделаешь.

Смотрительница. Вот дура-баба. Ведь добьется: директор увидит – отправит опять в психушку.

Мария. Лучше бы обошлось. В прошлый раз, когда она к нам забежала, я так растерялась. А вы ее, кстати, проворонили.

Смотрительница. И совсем не так. Я отлично все видела, но она влетела, как чумная. Да вот как вчера – как за ней поспеешь?

Мария. Я ведь к ней собиралась зайти сегодня.

Смотрительница. Зачем?

Мария. Посмотреть фотографию.

Смотрительница. Стул уже посмотрели. Пристукнет вас эта ненормальная.

Мария. Что вы такое говорите, Тамара Николаевна!

Смотрительница. А что?

Мария. Я научный сотрудник! Я кандидатскую об этом писала, всю жизнь этому отдала. И я с закрытыми глазами могу рассказать обо всем тут. И вдруг – неизвестная фотография хозяйки квартиры.

Смотрительница. Да еще вместе с этой чокнутой. Блефует старуха.

Мария. Пойдемте-ка лучше работать.

Смотрительница. Так ведь нет никого.

Мария. Тем лучше.

Мария уходит. Смотрительница снимает табличку и тоже уходит. Снова выглядывает Любовь Алексеевна, быстро вешает табличку «Музей» и исчезает. Появляются двое, Трошин и Виктория.

Трошин. «Летаев Алексей Иванович, советский поэт, жил в этом доме с 1920 по 1938 год». Не знаю такого. «Музей-квартира... филиал Государственного музея истории». Ты смотри: уже открыто.

Виктория. «Серебряный век русской культуры». Что такое Серебряный век?

Трошин. Золотой – это Пушкин, а серебряный... сейчас узнаем, что такое серебряный.

Виктория. Может, Твардовский?

Трошин. Твардовский – это Москва и, кажется, позже.

Виктория. Откуда я знаю? У нас в клубе Твардовский висит. Что-то тихо как-то. Может, закрыто? И табличка – гляди – неужели серебряная, а, Андрюша? Ведь серебряный век? И никто не ворует.

Трошин. Это сталь. Потемнела – тут климат такой – все темнеет.

Виктория. Никого.

Любовь Алексеевна выглядывает из-за своей двери.

Любовь Алексеевна. Вы сюда, ко мне заходите. Вы ко мне заходите, я вам все расскажу.

Виктория. Здравствуйте. Здесь Серебряный век?

Любовь Алексеевна. Здесь, здесь. Где же еще?

Трошин. Мы, похоже, что первые?

Любовь Алексеевна. Это точно. Сейчас чай пить будем. У меня самовар, представляете?

Трошин. Мы в музей. Мы недавно попили чаю.

Любовь Алексеевна. Так ведь не из самовара же?

Трошин. Не из самовара.

Любовь Алексеевна. Ну вот, а вы говорите.

Виктория. И у нас дома есть самовар, мы его летом во дворе шишками топим.

Любовь Алексеевна. Где у нас шишки? У нас электричество. Раньше был такой, в детстве... в Серебряном веке. Заходите, чего тут стоять?

Трошин. А билеты?

Любовь Алексеевна. Какие билеты? Пришли – и спасибо, мы без билетов пускаем.

Виктория. Без билетов пускаете? Ты слышал, Андрюша?

Из двери музея выглядывает Смотрительница.

Смотрительница. Куда? Куда это вы идете? Вам не туда! Эй, самозванка!

Трошин. А это кто?

Любовь Алексеевна. Она и есть самозванка. Захапала себе мою жизнь и отдавать не хочет.

Смотрительница. Куда вы идете? Это квартира. А это – умалишенная. Музей – вот он, у нас: экспозиция, экскурсия. У нас экскурсовод – кандидат наук, между прочим. А что у нее?

Виктория. Там чай из самовара.

Смотрительница. Какой еще чай? Чай дома пить будете. Распустился народ, ни к чему уважения нет!

Трошин. А может быть, мы и не к вам, а именно к ней.

Смотрительница. Ну что ж, идите. А она вас опоит и оберет!

Любовь Алексеевна. Мне ничего не нужно.

Смотрительница. Государству наносите вред. Я бы на вашем месте подумала.

Виктория. (Любови Алексеевне). Напоите нас чаем. Чаю хочется.

Любовь Алексеевна. Заходите скорее. Вы не думайте, я не обманщица. Кто меня на руках не носил. Сам Есенин качал на коленке. «По кочкам, по кочкам, в ямку – бух!» Знаете Есенина? Заходите. В старости вот и бухнулась. А эта – так, дурочка местная, билетики отрывает. (Заходят в квартиру).

Смотрительница. Я тебе покажу «дурочка». Мария Сергеевна, где вы?!

Мария. *(Входя).* Что тут случилось?
Смотрительница. Увела посетителей из-под носа.
Мария. Она?
Смотрительница. Да. Чаем заманила. Шли-то к нам.
Мария. Вы бы им объяснили.
Смотрительница. А я что, по-вашему?
Мария. Что же вы так кричали?
Смотрительница. Отбивала. Почему я должна уступать? Да эти... какая-то деревенщина. Им что в музей сходить, что чаю попить – одинаково.
Мария. Сегодня две школьные группы.
Смотрительница. Ну, две так две. Я караулить буду. Прямо здесь, на лестнице.
Мария. Только вы уж, Тамара Николаевна, без грубости.
Смотрительница. Мария Сергеевна! Я музейный работник. У меня не грубость, а строгость. Государственный музей все-таки, а не частная лавочка.
Мария. Все-таки надо к ней сходить
Смотрительница. Ну, вот видите вы какая!
Мария. Вы иногда напоминаете мне советского комиссара.
Смотрительница. Я и есть комиссар. Вы со своей несерьезностью все прахом пустите. Мне директор сказал – головой отвечаешь. И пока я еще не давала промаха.

Входят Борис и Ольга.

Ольга. Говорила же, что встретим. Стоят. Может быть, с черного хода?
Борис. Почему? Здравствуйте!
Мария. Здравствуйте. Вы снова к нам?
Борис. Нет, мы не к вам, а к вашей соседке.
Смотрительница. У нее что, именины сегодня?
Мария. А я не удивлена.
Борис. И не против?
Мария. Нет.
Борис. И это прекрасно. Видели уже фотографию?
Мария. Еще нет.
Борис. Тогда присоединяйтесь.
Мария. Сейчас придут школьники.
Борис. Прямо сейчас? Это просто какой-то злой рок над вами – школьники. Нельзя ли без них?
Смотрительница. Мария Сергеевна очень хороший экскурсовод. Дети всегда послушно ходят за нею.
Мария. Я всегда надеюсь на лучшее.
Борис. Мы хотели потом зайти и к вам.
Смотрительница. И нашим, и вашим!
Мария. Пожалуйста.
Смотрительница. Мы работаем до пяти. За полчаса прекращаем продавать билеты.
Ольга. *(Смотрит на часы).* Начало одиннадцатого....
Смотрительница. Кто вас знает?
Борис. Не знаем – и знать не хотим?
Смотрительница. Я этого не говорила.
Мария. Я бы зашла после первой группы. А у нас опять неприятности.
Борис. Что такое?

Смотрительница. Сумасшедшая мешает работать.

Борис. Опять шкаф двигала?

Смотрительница. Хуже. Посетителей украла. Шкаф-то двигать кто ей даст?

Борис. А может, он действительно стоит не на своем месте?

Смотрительница. И что? Умереть теперь и не встать?

Борис. От перемены мест слагаемых сумма не меняется?

Смотрительница. Вот именно.

Борис. Вам в музее бронетанковых войск работать.

Смотрительница. Где я работала, там не то, что шкаф – каждая бумажка на своем месте лежала. Что такое порядок я знаю. Меня не надо учить. Я, может, сию, помалкиваю, да столько всего замечаю.

Мария. Тамара Николаевна!

Смотрительница. Я чай в рабочее время не пью!

Борис. А в нерабочее?

Смотрительница. А в нерабочее я, как другие, по музеям не шляюсь!

Борис. Вам некогда?

Смотрительница. Представьте – да!

Борис. Апофеоз!

Ольга. Пойдем. *(Уходят).*

Смотрительница. Мария Сергеевна, с этим надо что-то делать. Согласны?

Мария. Ну, да.

Смотрительница. Так делайте, дорогая моя! Куда вы?

Мария. Голова у меня разболелась. Пойду, чаю выпью, пока время есть. *(Уходит).*

Смотрительница. Чтоб вы все лопнули с вашим чаем! Куда в вас только лезет?

4. 1936 год

Летаев сидит за столом с газетой. Входит Ольга.

Летаев. Вот, уже и в газете: «Художник Воронин принят в члены Союза писателей». Я и принимал. У него была, видите ли, революционная юность. Говорят, неплохой художник. Пионерские книжки марал.

Ольга. Почему марал?

Летаев. Не знаю. Пусть не марал, пусть раскрашивал. Я не видел. Шестьдесят три года. Сидит, как яичко пасхальное. Счастлив. Главное, приняли единогласно!

Ольга. А как ты хотел? Он написал же что-то?

Летаев. И в газетах пишут, и что – все писатели? Выпустил книгу воспоминаний и в ответном слове пообещал еще одну. Голосовали «за».

Ольга. Что же ты злишься?

Летаев. Как же мне не злиться? Была у меня избушка лубяная, а у лисички ледяная.

Ольга. Ты же хотел уходить оттуда. Хватит с тебя этих комиссий, собраний.

Летаев. Как? Чувствую: вынесут вперед ногами. Сжали – не пошевелишься.

Ольга. Уйди.

Летаев. Голосовали «за». Ты понимаешь это? «За», но голосовали. Что я тебе объясняю? Все о Сереже Есенине думаю. Вот кто мог всех их послать. Раздерется со всеми, разругается, пьяный, злой, все вокруг не знают, куда деваться, а теперь я думаю: он прав, это он вырывался и вырвался. Завидую и удивляюсь. А кто я такой – лживый писателишка, поэтик? Что я пишу? Ни-че-

го! Ваня, чьи взгляды схожи с моими, честен и непорочен. Он незаметен, невиден; он не тщеславен, наверное, все от этого.

Ольга. Можно подумать, что ты тщеславен.

Летаев. Да, Оля, да! Разве ты этого не видишь? Разве ты не видишь, как мне тяжело, как я не нахожу себе места? Ты говоришь: уйди. Куда? Куда от себя уходят? Мне нужно писать, а я не могу, совсем не могу работать. Еще и все это (*показывает на газету*). Тошно мне, Оля, как мне тошно. Есть же удовольствие жить? Чтобы не лезть по лестнице, а жить, как хочешь. Знаешь, что я сделал бы в первую очередь? Повернулся б ко всем задом. Жизнь – как партийное поручение. А?

Ольга. За что боролись, Алеша... Кричали: «Массы! Массы!» Вот вам массы. Ни своего угла, ни мыслей, ни дел – все общее. А совесть? Человек так не может.

Летаев. Этот Воронин – большая сволочь. Я, говорит, напишу еще, в память о товарище Горьком.

Ольга. Пусть.

Летаев. Пусть. Ваню бы напечатать, что он такой упрямый? Чувствую: долго не продержусь, может, сбегу в заводскую многотиражку. Есть там одна, звала. Пусть мелкотравье, а воздуха все-таки больше.

Ольга. В многотиражке?

Летаев. Да. Турбины, герои труда, письма в редакцию...

Ольга. Где же воздух?

Летаев. В лёгких. Там просто крепче спишь.

Ольга. И Ворониных тоже хватает.

Летаев. Там – хоть Орловы, хоть Куропаткины. Там – что угодно. Ты мне скажи, Ваня-то что упрямится? Славы не хочет? Так и не будет славы. Будет чуть-чуть... как бы это сказать... легче, что ли? Жизнь ведь кончается, пусть хоть узнают, пусть хоть что-то прочтут. (*Стучит в стену*). Ваня, иди сюда! Нет его, что ли? Вот постреленок!

Ольга. Он не считает это серьезным.

Летаев. Очень даже считает. Только молчит, паразит, слова не вытянешь. Как ты не видишь этого?

Стук в дверь. Входит Люба.

Ты чего?

Люба. Вы стучали.

Летаев. Ты у Вани была? А сам он где?

Люба. Гуляет.

Летаев. Гуляет. А ты что там делала?

Люба. Читала. Иван Егорович разрешил.

Летаев. Покажи-ка. (*Берет ее книгу*). Александр Блок. Не рановато? Что же тебе там нравится? (*Люба молчит*). А? Ведь Иван-то Егорович не силой тебя заставляет?

Люба. Нет, конечно.

Летаев. (*Читает посвящение из книги*). «Посвящаю эти стихи Тебе, высокая женщина в чёрном, с глазами крылатыми и влюбленными в огни и мглу моего снежного города». Да уж, теперь так не пишут.

Ольга. И напрасно.

Летаев. Ты к школе готовишься?

Люба. Нет.

Летаев. Не надо. Такое в школу не надо. На всякий случай тебе говорю. Ты что же, подряд читаешь?

Люба. Поряд.

Летаев. И как? С кем можно сравнить?
Люба. С Пушкиным.
Летаев. Тогда спрошу – почему?
Люба. А здесь Н. Н. – тоже Наталья Николаевна.
Ольга. А ты откуда знаешь?
Люба. Иван Егорович рассказывал.
Летаев. Какой он разговорчивый с тобой. Наталья Николаевна... с глазами крылатыми и влюбленными в огни и мглу... Хорошие стихи?
Люба. Очень.
Летаев. (*Ольге*). Читала?
Ольга. Нет... Давно.
Летаев. (*Любе*). А ты... мои читала?
Люба. Нет.
Летаев. А хочешь?
Люба. Хочу.
Летаев. Не надо.
Люба. Ну, я пойду?
Летаев. Иди. (*Люба выходит*). Несет меня лиса за темные леса, за высокие горы... Вот так-то, Ольга Владимировна. А ты говоришь – уйди. Куда? (*Стук в дверь*). Да? (*Входит Горкин*). А! Иван Егорович!
Горкин. Что так официально?
Летаев. Люба заходила к нам. Говорит: Иван Егорович, Иван Егорович... Книжечку оставила.
Горкин. А-а! Прочитала?
Летаев. Слушай, не рано ей?
Горкин. Рано? Почему же рано? Вещь необычайно живая. Сильная вещь
Летаев. Мне так не кажется.
Горкин. Да? Тридцать стихотворений за две недели, я за всю жизнь столько не написал ... Какая размеренная, понятная жизнь немца, а внутренне... что там было – никто не знает. Какие дикие скачки! Прелесть!
Летаев. Ты, Ваня, авантюрист, но тайный.
Горкин. (*Берет книгу*). Ты посмотри! Какая музыка! (*Ольга выходит*). Все-таки жизнь можно прожить по-разному. Если бы я так любил и писал, я бы ходил по проволоке через улицу.
Летаев. Ты пил?
Горкин. Я? Самую малость. Но, знаешь, выпил бы еще. У тебя есть?
Летаев. Оля не любит.
Горкин. Мы ей и не нальем.
Летаев. Ладно.
Горкин. Шел я сейчас, и вдруг показалось, что жизнь не прошла бесследно. Как-то вдруг стало уютно, я и зашел в рюмочную.
Летаев. Это неплохо. Зря ты девчонке Олины книги даешь.
Горкин. Это не Олины книги, а Николая. И даже отчасти мои.
Летаев. Голову ты ей дуришь. Втемяшится в голову – так навсегда и застрянет.
Горкин. Пусть. Этой заразы в твоей и моей голове столько, что невозможно ею не заразить. Знаешь, ведь я сегодня стих сочинил, ты не подумай, не то, чтобы хвастаюсь. А все-таки хорошо.
Летаев. Это неплохо. Рад за тебя.
Горкин. «Рад за тебя». Кто же так радуется?
Летаев. Рад, действительно рад. Ты прости: устал, неприятности на работе. Если не прочитаешь – больше тебе не налью.
Горкин. Да не смотри ты так пристально, все-таки не в президиуме сидишь.

Летаев. Не налью ведь.

Горкин. На, читай. Хотя нет, не поймешь. (*Стучит в дверь*). Люба! Пусть-ка она прочитает. (*Пауза*).

Летаев. Станный ты человек.

Люба. (*Входя*). Звали?

Горкин. Ты вот прочти Алексею.

Люба. Что это? Стихи? Чьи?

Горкин. Так, одного лоботряса.

Люба. (*Читает*). *Быт – убит! Расплющен, словно пуля,
Грудь мою пройдя, но сердце – нет.
Ласковая искорка июля
Звездочкой легла на эполет.*

*Лейтенант. Войска мои незрячи
Или зрячи столь, что мир – как боль.
Как определить мои задачи,
Если там и шорохи и плачи?
Роль моя – несыгранная роль.*

*Не приучен строиться – ровняться,
Впитывал, как губка, рай и ад.
Мог над миром гибнущим подняться,
Мог кричать от гибельных утрат.*

*Здесь надежды нет на повышение –
Здесь надежда на прозренья есть.
Мы идем на землю цепью, звенья, –
Станный сплав, где ржавчина и честь.*

*Думать о себе как о герое –
Может быть, потом и во хмелю.
Падают обманутые Трои,
Цитадели «я тебя люблю».*

*Реки, потерявшие рассудок,
Горы, потерявшие покой...
Маленькое поле незабудок
Стало мне и домом и рекой...*

Горкин. Ну вот. Спасибо, Люба. Иди.

Люба уходит.

Летаев. Ваня, сколько можно писать стихи, которые никому не покажешь? Год назад тебе припомнили бы и лейтенанта, но хватит и эполет, и этой ржавчины.

Горкин. Это все, что ты можешь сказать?

Летаев. Я бы тебя напечатать мог.

Горкин. Не мог бы.

Летаев. Это – конечно.

Горкин. Но ведь другого я не напишу.

Летаев. Кто тебя знает? Дай мне твои упадочнические стихи, дай на вечер. Где ты их держишь – в сапоге? под матрасом?

Горкин. Не дам. Я мало пишу, ты все слышал.

Летаев. Дал бы. Мне интересно.

Горкин. И мне интересно – Бог не дает.

Летаев. Что ты с ним будешь делать? Бога приплел. Ты не гуляй – работай. А наработаешь – тоже не прячь.

Горкин. Алеша! У меня голова седая, а ты меня в дебютанты прочишь. Да еще велишь писать на заказ. Твой Саша Жуков может, а я не могу. Костры у меня не взвиваются.

Летаев. Ну, ладно, как хочешь. Не буду настаивать. Ничем тебя не проймешь. Но все-таки я уверен, что ты хотел бы быть напечатанным.

Горкин. Да, в «Апполоне» у Маковского. Можешь устроить? Я с Николаем бывал у него.

Летаев. А в «Современник» к Некрасову не желаешь? Я тебя спрашиваю совершенно серьезно.

Горкин. Зачем тебе это? Ведь я не гений, Америк не открывал. Из-за того, что живем вместе? Глупо. Стихи пишу я надсадно. Пишу их годами, а прочитав, стесняюсь повторять, по крайней мере, вслух; поэтому живу с чувством, что ничего не написано, все тускло, а надо вперед и вперед. И ты ведь знаешь: их все равно не пропустят, а ты пострадаешь ни за что.

Летаев. Это моя забота.

Горкин. Нет, моя. Если бы я имел хоть какое-то настроение выбиться в люди, я бы, наверное, написал что-нибудь, что порадовало бы твой слух. Что говорить – мне пятьдесят четыре года, это немало. И при этом мне все еще хочется выйти из дома и, сочиняя, пойти в сторону набережной... Как ты можешь писать за этим кошмарным столом? Сел – и что? Для чего он нужен? Белый лист – это тоже лишнее. Пачкать его кляксами черновиков? Ты прости, как и я, ты не Пушкин, и твои вычеркнутые строки не будут просвечивать, чтобы узнать, как там было вначале? Легче, легче, легче...

Летаев. (*Вскипая*). Легче? Ты обвиняешь меня в бездарности, в лицемерии. Ты говоришь, что я не так живу. Тебе не нравятся ни мой стол, ни мои стихи. И ты говоришь: легче? Как это на тебя похоже! Ты безответственный человек, неудачник. Что тебе нужно? Ни-че-го! Видите ли, он гуляет! Бог ему не дает! Божий ты одуванчик, вот ты кто! Сам разлетишься прахом, и ничего от тебя не останется.

Горкин. Может быть. Но не раньше смерти.

Летаев. Глупый! Упрямый! (*Уходит*).

Входит Ольга.

Ольга. Что тут у вас опять? Алеша ушел и хлопнул дверью.

Горкин. Так... Благие намерения.

Ольга. Он думал тебе помочь. С ним что-то творится, какие-то неприятности. Теперь все как-то непрочно. Не надо бы вам ругаться.

Горкин. А мы и не ругались.

Ольга. И спорить не надо.

Горкин. Всегда здесь спорили! Помнишь, при Николае? Ты помнишь? Как я любил те дни.

Ольга. Да разве это были споры? Молодость, баловство...

Горкин. Так же хлопали дверью.

Ольга. Разве?

Горкин. И сейчас – то же самое. Вот он ушел, и правильно: пусть пройдет. Что он целыми днями сидит за столом, как думный дьяк? Это не стол, а

саркофаг дубовый. Ишь, обложился бумагами. А что он пишет? Докладные записки? Хочет он мне помочь! Пусть он себе поможет. Вот ты живешь с ним. Где за все эти годы хоть что-то, что он посвятил тебе? Почему я не видел этого? Ломовой конь революции! Что он пишет?

Ольга. Ваня! Не будь жестоким.

Горкин. Я не жестокий. Я говорю как есть. Он перестал быть интересным. Чем он ценен? Не для меня и тебя, а для себя?

Ольга. А для тебя – ничем? Перед твоим приходом он говорил о тебе. Говорил только хорошее. А ты мельчаешь. Судишь о человеке по результату. «Можно ли жить без таланта?» – это я слышу всю свою жизнь. Вот ваши споры. Все вы твердите одно: нельзя, а я говорю: можно. Я без таланта – и живу. А Алеша – сейчас у него трудное время, и если я буду с тобой обсуждать его – то это будет предательством.

Горкин. Прости.

Ольга. И для меня он ценен, это ты должен знать.

Горкин. Оля, и для меня. Но ты пойми: он потерял себя. Он только деятель в кавычках. Думаешь, я не знаю, зачем он нужен? Подпись его нужна. Вон у меня газета с его подписью. Это же страх. Как после этого жить? Ты почитай, что там написано. Да и талант – не мастерство, его пропить можно.

Ольга. Ваня, что же делать? Как ему помочь? Он ведь действительно как потерянный. Раньше к чему-то стремился, а что теперь? Просто сидит за столом, если дома, слушает радио. Курит, пьет.

Горкин. Пьет? Это неплохо.

Ольга. Что ты опять говоришь? Глупый старый ребенок.

Стук в дверь.

Люба. Ольга Владимировна, к вам пришли.

Входит Бочков.

Бочков. Ольга Владимировна, здравствуйте! Иван Егорович! *(Кланяется).*

Ольга. Павел Алексеевич! Здравствуй! Как вы давно у нас не были.

Бочков. Не мог прийти, дела. Люба, иди сюда! На-ка, держи! *(Дает Любе большую конфету).*

Люба. Спасибо.

Бочков. Накрывай, Люба, стол. Чай будем пить. Ольга Владимировна, а это вам. *(Протягивает сверток с конфетами).* Дайте-ка отдышаться. Какой я стал тяжелый, еле до вас дошел. А вы про меня забыли. Люба, ты помнишь, где я живу?

Люба. Помню.

Бочков. Ну? А почему не заходишь? Конфеты не любишь?

Люба. Люблю. *(Выходит).*

Бочков. И Ольга Владимировна не любит конфет.

Ольга. Неправда.

Бочков. «Да, так любить, как любит наша кровь, никто из вас давно не любит!» Хотите новость? Я опять на коне. Угадайте, в каком смысле?

Горкин. На лошади Пржевальского?

Бочков. На Росинанте! Принят на старости лет в царскую службу, теперь я редактор в издательстве. Работа почетная, интересная и оплачиваемая. Вот, с первой полочки – к вам, и страшно хочу чаю. А где Алексей Иванович? Где светоч советского художественного авангарда? Опять решает, как нам жить

лучше? А может быть, он в баню пошел? Иван Егорович, что это мы вместе с вами в баню не ходим? А я, да будет вам известно, с Шляпиным парился.

Ольга. Нам известно. Что же вы собираетесь редактировать?

Бочков. А что дадут. Тут главное, что позвали. А что – какая разница?

Ольга. Какой вы стали всеядный.

Бочков. Но, Ольга Владимировна, все-таки не до конца. Тут важно понимать: серьезного мне не доверят, а если нужен, значит, речь о чем-то трагическом и эфемерном. Я ведь фигура трагическая и эфемерная, не так ли? Все мы тут трагики поневоле. Даже Алексей Иванович, даже он. А вы, простите за затасканность комплимента, по-прежнему наша дама сердца.

Ольга. У вас одно сердце на всех?

Бочков. Как бы ни так!

Ольга. Как вы веселы, вас не узнаешь.

Бочков. А все просто: посидел на сухариках. Никому не нужен, под подозрением. Скучно, и прежнюю жизнь забудь. А тут позвали, и я пошел. Издательство новое, крепкое, и мировая драматургия – как вам? не очень меня порочит?

Ольга. Дай Бог.

Горкин. Так, значит, теперь и вы шишка?

Бочков. Не шишка, а сошка, как и вы. Редактор, не первой и не второй руки, но ответственный – вот что важно. В культурном человеке всегда есть необходимость. Власть, думаю, начинает это понимать. Пора бы, пока все не вымерли.

Входит Люба с чайником.

А вот и «чайковский»! Люба, ты фешенебельная гражданка. Так говорили в пору НЭПа.

Люба. Теперь так не говорят.

Бочков. Ну и что? А ты все равно лучше всех. Бери конфету!

Люба. Спасибо.

Бочков. Спасешься и мне поможешь! Ну, как поживаете вы? (*Горкину*). Как пароходы или линкоры, что вы там ремонтируете?

Горкин. Лучше всех.

Бочков. Вот вы хитрый. Без паровоза и парохода ни одна власть не может прожить. Будь я каким-нибудь кочегаром – беды бы не знал. Пар – основа. Пойдемте-ка завтра в баню, а, Иван Егорович?.. Ну как хотите. Видно, вы просто моетесь, а у меня это целый процесс. Я, знаете, люблю посидеть, погреться. Повспоминать.

Горкин. Что-то я уже навспоминался.

Бочков. А-а, у вас – то же самое? Вот видите! В старости, Люба, человек на треть – память. А может, даже на половину... Но вы правы, на воре и шапка горит: Эсхил – это замечательно, впрочем, как и клопы Маяковского и иже с ними, но не о том мы спорили с Николаем году этак в четырнадцатом. У нас был выбор, мы спорили о лучшем из путей, которого, как я теперь понимаю, не существует. Теперь же, когда эта проблема окончательно решена, ответ найден – жить стало неинтересно. Ты, Люба, пойми, это старость, брюзжание. Но лучше не понимай, пей чай и не слушай.

Ольга. Павел Алексеевич, а как поживает ваш тополь?

Бочков. Шумит и вам кланяется. Интересно, сколько живут тополя? Кто из нас кого переплюнет?

Ольга. Вам с ним не тягаться.

Бочков. Как знать, как знать. Но, конечно, я без него долго не проживу. В бессеребренниках ходить не желаю.

Люба. Мы часто деревья сажаем. И вам еще посадим, если хотите.

Бочков. Вы – это кто?

Люба. Комсомольцы.

Бочков. *(Показывая на фотографию на стене).* На той фотографии ты ведь еще в пионерках числишься? Как время летит!

Люба. Можем сирень посадить или акацию. Хотите?

Бочков. Что ж, можно и сирень. Только тополь со двора в небо лезет, а сирень будет сидеть, как в тюрьме. Думаю, ей не понравится. Вот я сейчас пойду, а ты проводи-ка меня немного. Что тебе дома сидеть?

Люба. Ладно.

Ольга. Вы там не слишком, Павел Алексеевич. Любе, наверное, надо уроки делать.

Люба. Я уже давно их сделала.

Бочков. Помните Иван Егорович, как вы революцию делили? Забыли?

Горкин. Делил? Не помню.

Бочков. А я как не знал математику, так и не знаю. И память стала портиться. А сколько там спиленных деревьев, сколько потемневшего серебра! Ну что, пора идти. Откланиваюсь, Ольга Владимировна. Пойдем потихоньку. Иван Егорович, привет корабликам, лечите их лучше. Я завтра в баню иду.

Горкин. Будьте здоровы.

Ольга. Не пропадите надолго.

Бочков. Алексею Ивановичу привет. Пусть меньше думает о счастье как таковом и больше – о вас. Иван Егорович, мы столько лет знакомы, скажите мне, для чего мы живем? Ну, Люба, ты готова? Тогда бери еще конфету.

Люба. Спасибо.

Бочков. Спасешься и мне поможешь.

Бочков и Люба уходят.

Ольга. Жаль его.

Горкин. Да, очень. Но с глазу на глаз с ним я и часа не проживу. Меня он пугает, как будто смотришь в зеркало, а там – твоя чепуха и глупость. Так много слов.

Ольга. Пусть.

Горкин. Не надо. Пустоты вокруг нас и так хватает.

Ольга. Что ты зовешь пустотой?

Горкин. Глаза Алексея. Твою хандру. Конечно же, атмосферу, но это касается только меня. Я сам себя вывел, свел, вытравил. Живу как в немом кино. Я тоже играю с памятью. Те несколько лет с Николаем, с которым я виделся нечасто, но которого чувствовал глубоко, как, может быть, только тебя, те годы остались во мне навеки. Там был артистизм, художественность, сила, – и Павел Алексеевич был при этом, – а говорит о бане с Шаляпиным. И вот что странно: я чувствую то время; как славную молодость, а возрастом был – почти как Пушкин в тридцать шестом, почти как стриженный Блок. А мне через столько лет Алексей предлагает дебют.

Ольга. А вдруг это нужно?

Горкин. Кому?

Ольга. Тебе.

Горкин. Мне? Не знаю, что значит «нужно». Мне нужен был весь белый свет – я жизнь просидел в конторах; мне нужно было писать – я читал. Когда-то мне

очень была нужна ты – я даже ресницей боялся махнуть в твою сторону. Ты это знаешь. Теперь мне пятьдесят четыре. Дебют? Который?

Ольга. Ваня!

Горкин. Картонный Пьеро со счетами, вот кто я. Свалить бы вину, да не на кого валить. А может, все дяди Вани такие?.. Не греет. Таких, как я, – поискать. Иметь все козыри, и что в итоге? Знаешь, когда я умру, ты напиши на моей могиле: «Он подавал большие надежды». И все. Это, как «здесь лежит Суворов» – самая суть.

Ольга. Ваня, остановись. Я устала... Кто тебя знает, какие надежды ты подавал, но сейчас ты напрасно себя изводишь. Все, что было в тебе, – то и есть. Ты прекрасный, добрый. Если что-то идет не так – это жизнь. Если ты неудачник, то кто тогда я?

Горкин. Единственная привязанность неудачника.

Ольга. Ты только что говорил о своей привязанности в прошедшем времени.

Горкин. Я говорил не о ней. Я говорил о том чувстве, когда задыхаешься от несделанного шага и все-таки этот шаг не делаешь. Что ты подумала?

Ольга. Я? Ничего.

Горкин. Это правда?

Ольга. Правда.

Горкин. Ты не подумала: идиот?

Ольга. Нет.

Горкин. Значит, ты меня не любила. Огромное облегчение.

Ольга. Почему?

Горкин. Потому что мне пятьдесят четыре года.

Ольга. А если бы – сорок два?

Горкин. И в сорок два.

Ольга. Ну, а раньше?

Горкин. Раньше был Николай. Я, конечно, сам начал... Я не делал шагов, ты не думала: идиот. Мы неплохо жили.

Ольга. Идиот.

Горкин. Все равно ты так не думаешь.

Ольга. Ну и что? Помнишь, ты однажды сказал: жили-были старик со старухой по разные стороны моря?

Горкин. Не помню. Похоже на идеал счастливой семьи.

Ольга. Твой. Какой день длинный. Я немножечко отдохну? (*Уходит*).

Горкин. Сейчас сердце выпрыгнет. Почему так тихо? Где Люба? Люба! Пойдем пить чай! Ах, да! Ах, да!

Выходит.

5. 2002 год

Борис, Ольга, Трошин сидят за столом.

Входят Любовь Алексеевна и Виктория. Любовь Алексеевна несет самовар, Виктория – поднос с чашками.

Виктория. А вот и мы.

Трошин. И правда, с самоваром!

Ольга. Вам помочь?

Любовь Алексеевна. Ничего. Мне самой хочется. Я его сто лет не доставала. Вон как блестит!

Борис. Антураж?

Любовь Алексеевна. Что?

Борис. Музейный экспонат, можно сказать?

Любовь Алексеевна. Вот именно. Смотрите, какой красивый!

Виктория. А у нас в поселке всё пузатые, по ведру. Этот, конечно, поинтереснее смотрится.

Трошин. Почисть наш песочком – тоже блеснуть будет

Любовь Алексеевна. У вас, видимо, медный. И у нас такой был. Мамино приданое.

Виктория. А у нас есть старая прялка.

Трошин. Чего только нет в сарае: оглобли, жернов под дверью, бочка без дна. Соседи недавно сожгли ткацкий станок. Такой был красавец.

Борис. Зачем же сожгли?

Трошин. Куда девать? Он огромный.

Борис. Да вот хотя бы в музей.

Трошин. А то там нет?

Ольга. Сжечь ткацкий станок – какая жуть!

Трошин. Конечно, жалко. Сработано было мастерски.

Виктория. А вы когда-нибудь пряли?

Любовь Алексеевна. Так я всю жизнь в городе прожила, откуда? Я родилась – папа пошел в управление, и нам дали комнату. Там, где сейчас музей. Так что в одном доме всю жизнь прожила. Все переехали, а я осталась.

Виктория. Почему?

Любовь Алексеевна. А зачем? Переедешь – жизнь ведь не поменяется? Мне потом соседи завидовали, здесь место такое хорошее.

Борис. А там, наверное, лифт?

Любовь Алексеевна. Ну и что? Слава Богу, до сих пор еще бегаю. Я, когда выселять стали, письмо в исполком написала: мол, ветеран труда, всю блокаду здесь прожила, помогите. И, представьте, оставили. Две квартиры соседние расселили. В той музей, там не трогали ничего, а вот эту тогда разделили надвое. Там, за стенкой, теперь их директор сидит, а здесь, в бывшей кухне – я. Да вы пейте чай, у меня хороший.

Виктория. Ах, какое у нас варенье дома! Мы вам в следующий раз привезем.

Любовь Алексеевна. Приезжайте! У меня и переночевать можно.

Виктория. Ну, в музее-то кто ночует?

Трошин. Ты, гляжу, совсем в роль вошла.

Виктория. Неудобно.

Любовь Алексеевна. Вы не стесняйтесь. У меня раскладушка и кресло раскладывается. Вы сегодня оставайтесь.

Трошин. Нет уж. У нас вещи в гостинице. Мы лучше в следующий раз.

Любовь Алексеевна. Одной, знаете, как бывает? Скучно. К людям хочется, а к кому пойдешь? Кому со старухой интересно?

Виктория. А Есенина вы правда видели?

Любовь Алексеевна. Видела. Конечно, видела. Только я ничего не помню. Мне Ольга Владимировна рассказывала.

Виктория. Совсем ничего не помните?

Любовь Алексеевна. Совсем.

Трошин. Ну вы даете!

Любовь Алексеевна. Так мне было тогда лет пять.

Ольга. А стихи он читал?

Любовь Алексеевна. Читал, наверное. Здесь часто стихи читали. Такая квартира была. Иван Егорыч – он жил за стенкой – много знал стихов. Я у него всё книжки выпрашивала. А его газетами мы в блокаду печку растапливали. У

него их тьма, даже царские были. Все собирал, как мышка. Я хоть жгу, а сама читаю.

Ольга. Ничего не осталось?

Любовь Алексеевна. Нет. Ведь газеты – чего их беречь? Там у них вся стена в похоронных газетах да черных портретах, неприятно даже. Говорят, все здесь были, поди, проверь.

Ольга. А бумаги Ольги Владимировны?

Любовь Алексеевна. А что бумаги? Их милиция забрала, когда Алексея Ивановича арестовывали. Чемоданами выносили. Полный шкаф был, так потом и стоял пустой, словно брезговала чего-то. Шкаф тот в блокаду сожгли. А как Ольга Владимировна умерла, мы ее хоронили с соседями. И почти никто кроме нас не пришел. Только Павел Алексеич был.

Виктория. А что было потом?

Любовь Алексеевна. А что потом? Умерла мама, кончилась война. Замуж я не вышла. Хоть могла, а не вышла. А работала я в войну в Петропавловской крепости, в прачечной. Там мы вшей из белья выжигали, да дыры штопали. Там по целым неделям и жили, потому что домой не дойти. Сил не было.

Звонок в дверь.

Борис. Это Мария. Я открою? *(Выходит).*

Ольга. Как же вы стул сохранили?

Любовь Алексеевна. Не знаю. Мы же не только всё жгли, мы и о жизни думали. Хорошо, что остался, все-таки память, папины гвоздики. *(Любовь Алексеевна выходит).*

Входит Борис, за ним Мария.

Мария. Я на минутку. Скоро еще одна школьная группа.

Борис. Там же ваша бронетанковая заместительница. Все покажет, всех накажет.

Мария. Иронизируете?

Борис. Как сказать.

Входит Любовь Алексеевна с чашкой в руках.

Любовь Алексеевна. Ну, наконец-то, Машенька. Вы проходите к столу. Как говорится, чем богаты...

Мария. Я фотографию посмотрю, если можно...

Любовь Алексеевна. *(Берет альбом).* Вот, смотрите, вот эта фотокарточка.

Мария. Да, это Ольга Владимировна.

Любовь Алексеевна. А кто же еще? А это – узнали?

Мария. Вы? Какой это год?

Любовь Алексеевна. Мне лет четырнадцать. Значит, тридцать четвертый. Я двадцатого года, легко считать. Это сосед нас фотографировал, на Первое Мая. Я попросила: дядя Саша, вы всех фотографируете, а меня нет. А Ольга Владимировна говорит: и меня нет. Он и сфотографировал нас на память.

Трошин. В пионерском галстуке.

Любовь Алексеевна. А как вы думали? Праздник.

Мария. Это вы где стоите?

Любовь Алексеевна. Вот как раз в кабинете, у окна.

Мария. Там, где стол?

Любовь Алексеевна. Никогда там стол не стоял. А стоял он ближе к углу. У окна было пусто. Я там еще пол подтирала, когда Ольга Владимировна стала болеть.

Мария. Здесь, за стеной, в одном шаге...

Трошин. Кто вам мешал этот шаг сделать? Вам еще бы здесь пошукать.

Любовь Алексеевна. Больше шукать нечего.

Борис. А стул?

Любовь Алексеевна. Стул настоящий, только фанерка папина.

Ольга. *(Марии).* Вам поговорить нужно. Записать Любовь Алексеевну.

Любовь Алексеевна. Вот вам, Машенька, чай. Почему вы стоите? А вы знаете, мама рассказывала, папа вначале даже угли для самовара из деревни возил. Так вот жили. И уже перед пенсией я купила этот, сама не знаю – зачем. Знаете, говорят: самоварное счастье. Он еще в той квартире стоял.

Борис. Ждал своего часа.

Ольга. Копил.

Виктория. Что?

Ольга. Впечатления.

Любовь Алексеевна. Пошла муха на базар и купила самовар. Знаете, я в молодости знала много стихов. Иван Егорыч очень хотел, чтобы я знала. Он вслух читать их любил. Прочитает какое-нибудь стихотворение и смотрит, нравится мне или нет. А мне нравилось.

Трошин. Про муху?

Любовь Алексеевна. Нет, про муху – это я в шутку сказала.

Виктория. Иван Егорович – это кто?

Любовь Алексеевна. Брат двоюродный Ольги Владимировны, жил с нами.

Мария. Иван Егорович Горкин?

Любовь Алексеевна. Ну да, он. Вы его знаете?

Мария. Знаю, что он дружил с Николаем Владимировичем. Знаю, что жил здесь, то ли брат, то ли дальний родственник.

Любовь Алексеевна. С каким Николаем Владимировичем?

Мария. Левниковым, первым мужем Ольги Владимировны. У нас целый зал посвящен ему.

Любовь Алексеевна. Ах, да. А для Ивана Егорыча места у вас не нашлось.

Мария. Не для него одного. Мало ли кто здесь жил. Вот вы, например. Это же еще не повод...

Любовь Алексеевна. А что же повод?

Мария. Мы ведь музей, а не куча мала, у нас система. Что такое этот Иван Егорович? Он поселился здесь в начале двадцатых? Кажется, это связано с уплотнением. Да, в архиве есть его фотография.

Любовь Алексеевна. В архиве – это где? В коробке?

Мария. В фондохранилище.

Любовь Алексеевна. В хранилище... Вы людям покажите. Он право имеет, а то понавешали всяких... как по блату.

Мария. Какой же блат? Там все известные люди, национальные гении здесь бывали.

Любовь Алексеевна. Своих музеев нет, так по чужим шастают. А вы их повесили оттого, что вам сказать нечего. Зашел сюда кто-то случайно, а вы о нем целый час говорите. Я ведь слышала. А жил здесь человек хороший, скромный, и ни слова о нем.

Трошин. Так это нужен музей скромного человека.

Мария. Обо всех не расскажешь. Люди не знают Волошина, Кузмина, Ахматовой ни строчки не знают, а вы говорите – Горкин. Будет висеть его портрет, и что? Спросят: кто это? Чем замечателен? Что о нем расскажешь? Любил стихи? Наверное. Тот, кто спросит, тоже стихи любит.

Любовь Алексеевна. Люди спросят, а вы расскажите. Ольга Владимировна книг не касалась. Эти ваши портреты с газетами ходили не к ней. Вот Алексей Иваныч – другое дело. Там дым коромыслом. Это в конце, перед арестом, тихонько стало. Только Иван Егорыч да Павел Алексеевич иногда. Знаете Павла Алексеевича?

Мария. Кто это?

Любовь Алексеевна. Мой кавалер, все угощал меня конфетами... Книги она отнесла в чулан. Те, что остались после ареста. Ну а Иван Егорович без книг дня не жил, наизусть помнил. Память у него была хорошая. Он же счетоводом работал. Считал в уме. Думаете, он ни с кем знаком не был? Что же, он прятался, когда ваши гении сюда приходили?

Трошин. А хозяин квартиры, как его? Чья доска-то на улице?

Мария. Летаев?

Трошин. Да, Летаев. Никогда о таком не слышал. Вероятно, не очень известный?

Мария. Что вы! Когда-то гремел. Блок хорошо о нем отзывался, с Есениным был знаком. Был арестован весной тридцать восьмого, вскоре расстрелян. Доску повесили, когда открывали музей. А вот хорошо изданной книги до сих пор нет. Кстати, если не ошибаюсь, Горкин Иван Егорович был арестован по общему с ним делу. Так?

Любовь Алексеевна. Кто его знает, может, и по общему. Через месяц арестовали и его.

Трошин. Ну вот, выходит, не посторонний он. Общее дело. Что ж, что простой счетовод. Враг народа – и точка!

Мария. Я, конечно, точно не помню. Горкин, Горкин... Кажется, восемь лет лагерей.

Виктория. Восемь лет. Жизнь целая. Он и там был счетоводом?

Трошин. Счетоводом там был какой-нибудь профессор математики, а неизвестный сосед расстрелянной знаменитости должен копать землю, валить лес или что-нибудь в том же духе. Это игра на понижение. Из счетоводов в счетоводы? Думаю, судьба не была к нему так добра.

Ольга. Он не писал писем? Любовь Алексеевна?

Любовь Алексеевна. Нет, мне - нет. Может быть, Ольге Владимировне? Но от нее ничего не осталось. Все в блокаду пропало, кроме нескольких связок книг, которые было жаль жечь.

Мария. А что за книги?

Любовь Алексеевна. Всякие. Там у вас много похожих, так ведь не те. Вы про Есенина спрашивали – был Есенин. Он, когда приходил к Алексею Ивановичу, подарил ему книжку. Очень ценная книжка, говорил Иван Егорович, чуть не последняя книга Есенина с дарственной надписью.

Мария. То есть, конец двадцать пятого года?

Любовь Алексеевна. Может, и так.

Мария. Ее тоже забрали?

Любовь Алексеевна. Нет.

Мария. Где же она?

Любовь Алексеевна. Откуда я знаю? Купил кто-то.

Мария. Вы... продали автограф Есенина?

Любовь Алексеевна. Я? С какой стати? Разве это мое?

Мария. Но ведь продали? Кто же тогда продал?

Любовь Алексеевна. Господи! Иван Егорович, кто же еще?

Мария. Он продавал книги Летаева? И Ольга Владимировна не была против? Я ничего не понимаю.

Любовь Алексеевна. Вижу, что ничего не понимаете. Ольга Владимировна к тому времени давно умерла.

Мария. Но ведь она умерла после его ареста?

Любовь Алексеевна. Да. А вот когда он вернулся...

Мария. Кто?

Любовь Алексеевна. Иван Егорович, кто же? Когда вернулся, работать уже не мог. А тут эти книги, связки две или три. Старые, желтые книги. Я их к себе перетасила на всякий случай. Как он был рад им, вы бы видели! Ну а потом, делать нечего, стал продавать. Жить-то надо было на что-то?

Борис. Вот так оборот!

Трошин. Значит, наш счетовод тихой сапой спустил миллионное состояние?

Любовь Алексеевна. Уж не знаю, что там на миллион тянуло? Это были его книги. Я для него их и берегла. В сорок седьмом весной он вернулся, а осенью умер, вот так. Тогда-то он и рассказал мне про свою жизнь, про Кронштадт да Караганду. И еще читал мне вслух, как в детстве. Ах, как я любила его слушать! А когда он умер... вот с тех пор я и одна.

Борис. Да, Мария, пожалуй, пора доставать фотографию из коробки.

Мария. И ничего от него не осталось? Ни одного письма?

Любовь Алексеевна. Что вы все писем ждете?

Мария. Может быть, есть какие-то дневники, упоминания о ком-то из тех, кого он знал? Вы говорите, он мог знать многих.

Трошин. Знал и продал. Знакомо.

Любовь Алексеевна. Вы из него Иуду не делаете. Он никого не продавал.

Трошин. Был счетовод с хорошей памятью, считал в уме, может быть, и с амбициями, а вокруг... Национальные гении, как вы сказали. Может, и зависть: стихи любил, да не дано. Так?

Любовь Алексеевна. Что он такое говорит?

Трошин. Что же, что любил? Можно ведь и любить, и ненавидеть. Запросто. Даже часто именно так и получается.

Ольга. У вас его фотография есть?

Любовь Алексеевна. Нет. *(Показывает на Марию).* К ним попала. *(Достает из альбома два или три сложенных бланка).* Вот, все, что осталось.

Трошин. Ну да, квитанции. Я ж говорю, что счетовод...

Любовь Алексеевна. *(Читает на обороте).*

Слово, оставленное на бумаге, –

Как отпечаток стопы...

Мелко написано. Совсем ничего не вижу.

Трошин. Он написал? Что же из этого следует?

Любовь Алексеевна. Он все писал в маленькую тетрадку. Сам ее сшил, чтобы влезала в карман. Но и ее не стало. Наш участковый забрал зачем-то. Все, что осталось – этот листок из его кармана.

Трошин. Значит, других продавал, а свое в тетрадку записывал.

Любовь Алексеевна. Что вы такое говорите? Ведь ничего же не осталось.

Трошин. Знаете, меня учили не брать чужого. Так воспитан. А тут... что-то было, куда-то делось. Кто-то кого-то продал. Если уж это музей, то извините меня... Чей самовар лучше, решают! Это ведь курам на смех. Ах, он стихи писал! Может, и я их писал когда-то. Все их когда-то пишут. Ах, он хороший

человек! Тут я, конечно, не конкурент. Вы уж простите, как говорится, не сдержался.

Ольга. Вы у себя в сарае оглоблю храните, а здесь живой человек.

Трошин. Так я оглоблю не возношу и никому ее не показываю. Я не считаю себя особенным. И не играю в эти ваши манерные игры. Ах, книжечка! Ах, тетрадоочка! У вас музеи Суворова, Петра стоят пустые, а тут Есенин на диване посидел.

Мария. Он здесь стихи читал.

Трошин. А кто их слышал?

Любовь Алексеевна. Я слышала!

Трошин. Сидя на коленке? Вика, идешь? (*Выходит*).

Виктория. Андрюша! Ну, что с ним такое? Как уходить приходится...

Любовь Алексеевна. Вы заходите опять, когда приедете. Вы мне варенье обещали.

Борис. Ну, и опять-таки, чей самовар лучше, надо решить.

Любовь Алексеевна и Виктория выходят. Пауза.

Мария. (*Берет бумаги*). Квитанция из ломбарда, телеграфный бланк... (*Читает*). Ах, если бы это была одна из тех книг.

Борис. Огорчены?

Мария. Еще бы.

Борис. Но ведь зато взамен целая жизнь, про которую вы ничего не знали.

Мария. Целая жизнь... И что мне с ней делать?

Борис. Копать. (*Берет квитанцию*). «Пальто зимнее, воротник – каракуль». Посмотрите: не выкуплено. И, кажется, не собирался, иначе не портил бы бланк.

Ольга. Он умер осенью.

Борис. Действительно, счетовод. И это высчитал. С поэтами это бывает.

Мария. Почти двадцать лет прожил в этом доме. В сухом остатке – квитанция из ломбарда.

Борис. Уж больно сухой у вас остаток! Хорошо бы узнать, где он был, этот ломбард. Тогда можно понять, как он шел. Можно представить погоду... ну, вот как сегодня. А какая лента неба над головой! – синяя-синяя и раскатывается за каждым поворотом, нужно только быстро и внимательно посмотреть... Светофоры то тормозят, то, наоборот, подгоняют. Пальто зимнее. Ну да, ведь осенью умирать.

Мария. Фантазируете?

Входит Любовь Алексеевна.

Борис. (*Вдруг, Любви Алексеевне*). Вы должны вспомнить Есенина! Ну, например, вошел, потрянул шевелюрой густых рыжих волос, спросил пепельницу... Он курил?

Любовь Алексеевна. Не знаю.

Борис. Спросил пепельницу, достал из кармана мятый лист бумаги и, скомкав его, сжег в этой самой пепельнице.

Мария. Он курил.

Борис. Курил? Тем более. Ну, вспоминайте.

Любовь Алексеевна. Я ничего не помню.

Борис. Ну! Рыжие волосы. Чуб. Что еще? Собака Качалова... Он был с собакой?

Мария. Вряд ли.

Борис. Не помните? Ну и ладно. В конце концов, эта сказка не про него.

Любовь Алексеевна. Вроде бы пьяных ягод в чай не бросала, а мужики как пьяные.

Мария. Шум. Пойду. Кажется, группа.

Мария выходит.

Борис. Любовь Алексеевна, мы тоже пойдем, наверное.

Входит Директор, чуть позже – Мария.

Директор. Любовь Алексеевна, нам нужно поговорить. На вас опять жалуются.

Любовь Алексеевна. Тамарка? А чем ей еще заняться?

Директор. Ну, правда – когда это прекратится?

Любовь Алексеевна. А вот когда умру – тогда...

Директор. *(Борису и Ольге).* Простите, вы, кажется, к нам в музей шли?

Борис. С чего вы взяли?

Директор. Но так мне сказала Тамара Николаевна.

Борис. Она вас ввела в заблуждение.

Любовь Алексеевна. Их введешь!

Борис. Мы были у вас в музее вчера. Зачем нам сегодня опять туда идти?

Директор. А мне сказали...

Любовь Алексеевна. Они еще «скорую» вызвали.

Ольга. Зачем?

Любовь Алексеевна. Так я же... того. *(Делает жест).*

Директор. Никто никого не вызывал.

Борис. Тогда мы еще побудем.

Директор. А вот насчет милиции не могу обещать..

Мария. Владимир Николаевич, не надо. Здесь другое.

Директор. Вы сами не раз говорили...

Мария. Давайте, я к вам зайду через час и все объясню.

Директор. Ну, хорошо. Вас там уже ждут. *(Мария выходит. Ольга берет со стола бумаги).* Лестница со двора после ремонта. Светлая, цветы на подоконниках. Сам бы ходил, да у меня выход только на эту лестницу.

Борис. А вход?

Директор. Что вы сказали?

Ольга. *(Читает).*

*Слово, оставленное на бумаге, –
Как отпечаток стопы
В камне. И ходят поэты-бродяги,
Ходят – не сходят с тропы.*

*Ходят беспечно и вовсе нестрого,
Кажется – вдоль-поперек.
Нет, перед ними все та же дорога,
Та же дорога дорог.*

*Время замкнется, жизнь растворится,
В новый впадая поток...
Снова вернется слово, как птица,*

В сердце вонзится ноготок.

*Больно? Я знаю. Это лечение.
Сердце должно уцелеть.
Слово, внезапно сделавшись тенью,
Выучит сердце болеть.*

*Боль – это тоже путь в неизвестность,
Если легко не пройти.
Странное место эта словесность –
Местность, которую чтят.*

*Местность, которой карты и схемы –
Черновики-дневники.
Местность, где люди с виду – поэмы,
Сутью – звонки и замки...*

Директор. Это что же такое? Интригуете? Чьи это стихи?

Ольга. Горкина.

Директор. Какого Горкина?

Любовь Алексеевна. Ивана Егоровича.

Директор. Что-то знакомое... Эмигрант?

Ольга. Нет.

Борис. Он из коробки.

Директор. Из какой коробки?

Ольга. В вашем фондохранилище есть его фотография. Он жил здесь.

Директор. Мария Сергеевна рассказала? А вы здесь, похоже, времени зря не теряли.

Ольга. Здесь еще несколько строф. (*Читает телеграфный бланк*).

Ходят поэты, зряче ли, слепо

Пробуя землю на вкус.

Небо? Но с небом спорить нелепо.

Спорят. А я не берусь.

Директор. Хм... Никогда у вас не был. Очень даже... И самовар. Надо бы и нам завести такой.

Любовь Алексеевна. Хотите – чаю налью.

Директор. Нет, спасибо. Пойду. Только, Любовь Алексеевна, если вы еще раз попытаетесь украсть у нас стул...

Борис. Кто у кого?

Любовь Алексеевна. Это Тамарка.

Директор. Ладно. Будем считать это недоразумением.

Ольга. Вас стихи не заинтересовали?

Директор. Нет, почему? Просто сейчас не до этого.

Директор выходит.

Ольга. А здесь химический карандаш, а он расплылся. Видимо, в дождь попал.

Что ты роняешь, белая птица,

Перышки слов на лету.

Разве могу я с видом провидца

Петь про чужую мечту?

Мне со своей-то, строгой и тихой,

Не угодить бы в беду...

Совсем ничего не видно...

Любовь Алексеевна. *(Вдруг, тихо, как во сне).*

Время, как сердце детское, тикай.

Не торопись, подожду.

Ольга. Откуда вы знаете?

Любовь Алексеевна. Я не знаю...

6. 1947 год

Бочков и Люба.

Бочков. Да, Люба, когда-нибудь твой портрет повесят в каком-нибудь хорошем общественном месте, и будут рассказывать твою биографию.

Люба. Чего же мою, а не вашу?

Бочков. Твою, Люба, твою. Моя-то что? Я с боку припеку, ни то ни сё. А ты живешь, не прячась, открыто. Ты, Люба, должна быть счастливой. Просто обязана. За всех, у кого не получилось, и за меня в том числе.

Люба. Нет уж, вы мне свое счастье не передаривайте. Глупости говорить каждый может. Я на Бога не гневаюсь, плакать на собираюсь, но мое счастье тоже не очень-то мне далось. Только ведь плачь – не плачь, – сами знаете...

Бочков. Я старый, Люба, а ты все дитя, хоть замужем побывала и столько пережила. Ты помни, все помни. Не то беда, что забудут, беда, что перевернут. Не славы хочется – сочувствия. Сочувствие, сострадание – вот все, чем мы богаты. Это в тебе есть и останется. Это то, за что я тебя люблю. И дай Бог, чтобы это все понимали.

Стук в дверь. Входит Василий.

Василий. Люба, глянь за мальцами. Папирос куплю – и назад.

Люба. Спят?

Василий. Спят.

Люба. Хорошо.

Василий уходит.

Бочков. Нянчишься?

Люба. Нет. Иногда просят.

Бочков. Дети рождаются... Мужики.

Люба. Такие хорошенькие.

Бочков. А ты что? Тебе бы тоже. Замуж, семью завести. Ведь ты молодая еще. Какого ты года?

Люба. Двадцатого. Легко считать.

Бочков. А мне ведь скоро семьдесят лет. Как это так? Никто в моем роду столько не жил. А я и подавно... Жизнь, говорят, это чудо, а мне так не кажется. Я это чудо насквозь знаю. Мука. А ты попробуй иначе прожить, не так, как мы.

Люба. А как вы жили?

Бочков. По-разному. Но очень уж одинаково, вот что грустно. А если и шумели по молодости – все в пар ушло. Плохо, что вкуса жизни больше не чувствую. Тянется, и без вкуса.

Люба. Разве вы жить не хотите?

Бочков. Жить-то хочу. А вот так, как живу, – нет. Скучно. Сходишь в парк, посидишь на скамейке, воробьев покормишь, а потом обратно домой. Загредишь посудой, и станет ясно, что жив. А так ли это? И что самое главное: двадцать лет назад чувствовал то же самое: то ли жив, то ли нет, но признаться в этом – ни-ни. Может, так судьбу заговаривал? А теперь жизнь прошла уж точно.

Люба. А потом, через двадцать лет пожалеете, что так говорили.

Бочков. Двадцать лет? Не хочу. А вот годик-другой почему-то еще охота. Ты не знаешь, сколько живет воробей? Три, пять лет? Больше?

Люба. А что?

Бочков. Да кормлю одного, не хотелось бы, чтобы он раньше умер.

Люба. Павел Алексеевич, хватит вам умирать! Кто о чем, а вы...

Бочков. А вшивый о бане.

Входит Горкин.

А вот и он! Я уже уходить собирался. Ну как? Нету. Люба там все много раз обошла.

Горкин. То ли это место?

Люба. То. Новые могилы среди старых – то самое. Когда снаряд упал – место заняли. Хоронить всем было надо.

Бочков. Место то. Что не точно – какая разница? Все равно после нас никто не вспомнит. Ладно, пойду. Хотел дожждаться – а вдруг? А знаешь, Люба, на тополе крест поставили. Ты думаешь, спилят?

Люба. Не знаю.

Бочков. Спилят. Темно, душно, соседи жалуются.

Люба. Может быть, и не спилят.

Бочков. И вот еще что. Я говорил, что он серебристый, а он обычный, как все. Я сам не знал сначала. И все мне верили. «Серебристый, да, серебристый». Хотелось жизни, которой не было. Вот такие у меня тайны. А тогда, в тридцать восьмом, меня вызывали два раза. Спрашивали, я отвечал... Был ли я виноват менее вашего или мне повезло? Не знаю. А что оставили... Пожалуйста, не думайте обо мне плохо. Говорят, у них все хранится – я этого не боюсь. Вот... а тополь-то не серебристый...

Люба. И конечно, его не спилят. Столько дел кругом, к вам во двор и не сунутся. Да сейчас и сажают больше...

Бочков. Говорят, Алкид любил тополя.

Горкин. Кто говорит?

Бочков. Кто-то. Не читал с гимназии.

Люба. А кто такой Алкид?

Бочков. Геракл. Геракла знаешь? Вот и я – то ли тополь с крестом, то ли Геракл в старости. Лучше – тополь, у дерева старости не бывает. И легкая смерть. Как считаете?

Горкин. Мы ведь с вами так и не были в бане.

Бочков. Такое бывает между застенчивыми людьми. Прощайте... А может, тот, кто готов быть спиленным, имеет право пилить?

Горкин. Не имеет.

Бочков. Может, и так. Пойду.

Бочков уходит.

Люба. Как он всегда тяжело уходит. Разве у дерева нет старости?

Горкин. Все-таки он для меня загадка. Как в нем не гаснет эта слабая искорка? Мы ведь за целую жизнь так ни разу и не поговорили. А ведь похожи.

Люба. Ничуть.

Горкин. Очень похожи. *(Слышен плач ребенка).* Кажется, плачет?

Люба выходит, потом возвращается. Горкин достает из кармана тетрадку, садится за стол и что-то пишет.

Люба. *(Входит).* Снова уснул. Интересно, снятся им сны? Старшему три месяца, младшему два.

Горкин. Вряд ли.

Люба. Обе соседки – Марии, оба мальчики. И никакой войны. Знаете, и я боюсь, что жизнь уже прошла, что ничего уже больше не будет. Только вот есть же эти мальчики... Кто бы знал, как я их люблю, как мне жалко их. Я, когда их беру, сама не своя. Одного зовут Гоша, другого Саша. Я их буду беречь-беречь. Ведь можно?

Горкин. *(Не слушая).* Да.

Люба. Странно, что рубят деревья. Какой там крест? Может, его стереть можно? Что вы пишете?

Горкин. Так. Ты же знаешь.

Люба. Слово, оставленное на бумаге – как отпечаток стопы...

Горкин. Не лезь!

Люба. Ну, ладно.

Звонок в дверь.

Люба. Это Мария. *(Выходит).*

Входят Панов и Люба.

Панов. Вася опять где-то ходит. Я подожду его. Я немножко выпил, но это пройдет... *(Протягивает руку).* Федор. Что, поселились тут? Что ж, можно... Я, между прочим, здесь был управдомом почти пять лет. Комиссован начисто... полстопы, понимаешь... Люба знает. Вы... только чтобы бумаги в порядке... разумеется... Я к Василию... на минутку.

Люба. Там ребенок спит.

Панов. Ну-ну. Я на кухне подожду. *(Что-то напевает, отхлебывает из фляжки).*

Звонок.

Люба. Кто это? *(Выходит).*

Входят Милиционер и Люба.

Милиционер. *(Панову).* Федька! А ты что здесь делаешь?

Панов. Молчок!.. Не Федька, а Федор Иванович!

Милиционер. Сколько раз я тебе говорил: не шастай ты по чужим квартирам. Ведь я тебя посажу. *(Горкину).* А я к вам. Обещал посмотреть, как вы тут живете.

Горкин. Я подал документы.

Милиционер. Знаю, видел. Значит, решили здесь обосноваться?

Горкин. Да.

Люба. Иван Егорович здесь и раньше жил.

Милиционер. Знаю, что жил. А я, грешным делом, надеялся, что вы не задержитесь здесь надолго. Что вам делать в городе? Если насчет удобств – главное неудобство для вас в том, что теперь мы будем часто видеться. Лишнего я никому не позволю, это учтите. Лишнего – это значит... вы понимаете?

Панов. В паспортный стол... если что... там у меня... можно без очереди.

Милиционер. Федька!

Панов. Я не Федька, а Федор Иванович. Это раз. А другое то, что зачем к человеку цепляться?

Милиционер. Я тебе пятнадцать суток впаю.

Панов. Не имеете права! Я здесь был оправдомом пять лет.

Милиционер. Не пять, а три.

Панов. С половиной. Я по квартирам по долгу службы ходил. (*Входит Василий*). Вася, а я к тебе.

Василий. Что тебе нужно?

Панов. Это не телефонный разговор.

Василий и Панов выходят.

Милиционер. По долгу службы ходил он. А теперь просит в долг, а берет навсегда. Это учтите.

Люба. Мы не чужие. Иван Егорович мне, считайте, родственник.

Милиционер. Что мне считать? Вам разрешили жить в Ленинграде, значит, живите. Я уважаю ваш возраст, но не могу уважать ваш образ мыслей, тот, за который вы понесли наказание... Книг-то у вас! Что, с собой притащили? Царские?

Горкин. Нет.

Милиционер. Как же нет, когда напечатаны при царе? Вы их зачем тут держите? Я к вам отнесся достаточно хорошо, так вы ведите себя соответственно. Я вот еще ознакомлюсь с их содержанием. Немцы?

Горкин. Нет

Милиционер. Как же нет?

Люба. Да какие там немцы? Вот, смотрите!.

Милиционер. Ах, еще и Есенин! Полный швах. Было же постановление. Про безыдейность и все такое прочее. Ладно, потом разберемся. (*Берет тетрадку Горкина, читает*).

Черту не нюхать сирени,

Что ему делать в раю?

Я не встаю на колени,

Я вообще не встаю.

Смята осипшая глотка,

Небо как будто в дыму.

Ну, у тебя и работка,

Черт! Никогда не пойму.

Ваше?

Горкин. Мое.

Милиционер. Я говорю: кто писал?

Горкин. Я.

Милиционер. Это плохо. Плохо, что вы еще и пишете. Не вдаваясь в подробности... Знаете, мой девиз – профилактика. Вы ведь уже пожилой

человек. Вы, как я помню, были в Караганде, а я был в Праге. Я пол-Европы, вы – пол-Азии. Всякого повидали... Все-таки эти книги вы уничтожьте, сожгите. Или придется мне. Я их не видел... пока. Сами же знаете, что бывает за безыдейность. Ясно?

Горкин. Да.

Милиционер. Думайте, уважаемый. Эту тетрадку я возьму. Не возражаете?

Милиционер выходит.

Люба. Он неплохой, наш участковый, борется с хулиганами... Видите, к вам он даже с уважением. Нужно немножко... не знаю что... Только вот книжки жечь не надо. Я их уберу в чемодан, а вы читайте. Чтобы не на виду, раз уж так.

Входит Панов

Панов. Ушел? Когда бы ни увечье, стоял бы он передо мной... Я управдомом был. *(Протягивает руку).* Федор... Люба знает.

Люба. Федор Иванович, иди!

Ланов. Есть папиросы? Мне бы червонец до пенсии, а? Вася не дал, говорит – все у Мани. Врет. А у меня душа нараспашку... все пропиваю.

Люба. Что ты с ним сделаешь?

Горкин. *(Собирая книги).* Нет у меня денег.

Панов. Дай!

Люба. *(Кричит).* Василий!

Панов. Дай, все дают. Мне папирос купить не на что.

Входит Мария.

Мария. Что тут у вас? Федор, чего ты здесь к людям лезешь?

Панов. Как он здесь жить собирается?

Мария. А ты как живешь?

Панов. Я – другое. Я нараспашку весь.

Мария. Иди, иди отсюда! Нечего тебе здесь делать! И, Люба, не пускай его больше!

Люба. Хорошо.

Панов. Да вы хоть знаете, кого... и где... где вы живете? Забыла, Люба? А я вот помню. В газетах печатали, по радио выступал... костюм и шляпа... все было, да скурвился. Спросите у управдома... Таких же вот взглядов, как этот... *(Показывает на Горкина)* И всё ходили к нему... враги... Ты, Люба, смотри, оно заразно. Здесь было столько врагов народа, что можно паноптикум открывать... *(Горкину).* Ну, что ты смотришь? Чего ты смотришь так? Приехал, как же!

Мария. Вася! *(Толкает Панова).* Иди!

Панов. Кункскамера. И шляпу в спирт... в назидание. И много спирта... чтоб я... стоял на страже. *(Исчезает за дверью).*

Мария. Не слушайте вы его. Его сейчас Вася с лестницы спустит. На водку не дали – все враги. Его и из управдомов за это выперли. Натерпелись мы от него, за все давай на водку.

Горкин. Вы давно здесь живете?

Мария. С весны сорок шестого. До войны муж работал на Кировском заводе, а теперь дали комнату здесь.

Горкин. Я бывал на Кировском. Но чаще – на Канонерском. У меня к островам страсть. Побывали бы вы в Кронштадте, посмотрели бы на него. Как там красиво. Особенно осенью.

Люба. Осенью везде красиво.

Горкин. Маленький и очень тихий. Я начинаю думать о нем, как Одиссей о своей Итаке. Там ведь отец мой похоронен.

Мария. Что же не съездите?

Горкин. Надо бы, если пустят.

Мария. К отцу?

Горкин. Я и могилу уже не найду, наверно.

Мария. Плохо. Мой хоть вернулся, контуженный, да живой. Скоро детей кормить. Старший всё где-то бегаёт. Ведь попросила с детьми посидеть, а нет, куда там!

Люба. Маня опять будет поздно?

Мария. Да, вторая смена. Так и меняем друг дружку, а то Любу просим. Все-таки мужики есть мужики. Их самих кормить нужно.

Мария выходит.

Люба. Вы сильно расстроились?

Горкин. Я? Ничего.

Люба. Чаю?

Горкин. Можно и чаю.

Люба. Я сейчас. *(Берет книгу)*. Где он тут немцев нашел? Блок, что ли, немец?

Горкин. Немец.

Люба. Не верю. Что вы меня дурачите? Что, и у вас тополь не серебристый? Нет уж, дудки! Мое останется моим. Вы как хотите, а мне надоело терять. Я не хочу ничего терять! Я хочу, чтоб ничего не пропало. Слышите? Иван Егорович, ну, улыбнитесь!

Люба выходит. Горкин собирает книги.

Голос Марии. Женька!

Голос Женьки. Ничего не задано!

Голос Марии. Не убегай, есть будешь!

Голос Женьки. Хорошо!

Голос Марии. Мой руки!

Голос Женьки. Чистые!

Конец.

2013 – 2015 гг